

Е 60 2804-к  
А. ЕМЕЛЬЯНОВ

# запоздалый суд



РАССКАЗЫ

Национальная библиотека ЧР



k-002804

РОЛЬНЫЙ ЛИСТОК  
ОКОВ ВОЗВРАТА

КНИГА ДОЛЖНА БЫТЬ  
ВОЗВРАЩЕНА НЕ ПОЗЖЕ  
УКАЗАННОГО ЗДЕСЬ СРОКА

Колич. пред. выдач \_\_\_\_\_

КПК. Зак. 2935. Тир. 95

2804-к

✓  
АНАТОЛИЙ ЕМЕЛЬЯНОВ С(ЧУВ)

К Е 60

# ЗАШОЗДАЛЫЙ СУД

РАССКАЗЫ

*Перевод с чувашского Зои Ромаңовой*



ЧУВАШСКОЕ КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО  
Чебоксары — 1971

Обязат. экз.

С (Чув)  
Е 60

2804-к

ЧУВАШСКАЯ  
Республиканская  
БИБЛИОТЕКА  
им. М. Горького

СОДЕРЖАНИЕ

ПОЛЕВОЙ СТОРОЖ . . . . .	3
СВИРЕЛЬ . . . . .	17
ВЕСЕННИЙ ДОЖДЬ . . . . .	33
УЩЕРБНАЯ ЛУНА . . . . .	53
КУЗНЕЦ ПРОХОР . . . . .	71
ГНЕТСЯ, НО НЕ ЛОМИТСЯ . . . . .	81
ЗАПОЗДАЛЫЙ СУД . . . . .	103

Емельянов Анатолий Викторович

ЗАПОЗДАЛЫЙ СУД

Рассказы

Редактор *А. И. Дмитриев*  
 Оформление *С. А. Владимирова*  
 Художественный редактор *Е. Е. Михайлова*  
 Технический редактор *А. Ф. Никитина*  
 Корректоры: *А. И. Елисина, Л. И. Карбанова*

---

НТ 02707. Сдано в набор 18/V -1971 г.  
 Подписано к печати 19/XI-1971 г. Изд. № 41/71 г  
 Формат 84×108/32. Типографская № 3.  
 Физ. печ. л. 3,75. Усл. печ. л. 6,30. Учетно-изд.  
 л. 6,33. Заказ № 2569. Тираж 30 000 экз. Цена 20 коп.

---

Чувашкнигоиздат, Чебоксары, пр. Ленина, 4  
 Типография № 1 Управления по печати  
 при Совете Министров Чувашской АССР  
 Чебоксары, Володарского, 5.

7-3-3

41-711  
**ПРОВЕРЕНО**  
 20 08 ОКТ 2017

## ПОЛЕВОЙ СТОРОЖ

### I

**В**ечерней порой, когда солнце уходит на отдых, и ранней зарею, когда оно едва-едва проглядывает сквозь голубеющее полотно утра, на Межевой горе маячит фигура всадника на тонконогом высоком коне. Всадник — довольно рослый мужчина. В летний зной он — в одной рубашке, в дождь — в солдатской плащ-накидке. И всегда за спиной двустволка. Волосы, когда-то черные, теперь заметно поседели. Глаза блестят сухо и холодно. Длинный с горбинкой нос и высокие вздернутые плечи делают его похожим на ястреба. Плотнo сомкнутые губы, жесткие, торчком, усы и широкий небритый подбородок еще больше подчеркивают сходство.

Это Алексей Микин, но в деревне мало кто его по фамилии знает. Стоит назвать Собака Элекси — даже младенец догадается, о ком речь. Пожалуй, в округе нет человека, которому не приходилось бы иметь дела с Элекси...

Хуранварские улицы, прямые и длинные, сходятся в одной точке — на Межевой горе, образуя широкую дорогу. Здесь всегда шумно: отсюда уходит на пастбище стадо, из лесу и в лес то и дело снуют машины, стайками спешат в поле и на ферму бабы, степенно вышагивают, монотонно бубня меж собой, мужики. А на горе — неизменный сторож колхозных полей Элекси. И если уж он там, даже курица не выскользнет за околицу, а шоферы-лихачи тем более не осмелятся обгонять друг друга, дабы не оставить после себя полосу смятой ржи. Знают: Элекси не пощадит виновного. И вопреки поговорке, что лес слышит, а поле видит, так встряхнет нарушителя, что в следующий раз тот обойдет его за три версты. Это — когда вокруг никого. На людях же Элекси с канцеляр-

ской педантичностью пишет акт, заставляет подписаться под ним всех, кто, к несчастью, оказался в эту минуту рядом. Не тронут его ни просьбы, ни мольбы, скажем, пастуха, прозевавшего корову или овцу,—Элекси тверд, как скала. Кажется, даже незадачливая скотина знает, что убегать от него бесполезно: все равно настигнет быстроногий конь, и тогда уж не увернуться от ременной плетки всадника. Потом — двор, где у калитки встречаются перепуганных животных две опромные овчарки и охраняют их до прихода владельца-избавителя.

По три, по четыре раза в день объезжает Элекси поля и почти каждый раз загоняет безнадзорную скотину.

Очень редко заходят в дом Элекси люди. Даже соседи. Потому, наверно, и собаки у него такие злые: не признают никого, кроме хозяина с его семьей.

К вечеру во дворе сторожа наступает тишина. Слышно только, как овчарки гремят цепями по проволоке, протянутой из конца в конец двора, да изредка тоскливо взмыкнет чужой подтелок.

## II

Геннадий долго стоял перед калиткой, словно не решаясь войти в нее. Он как будто впервые видел отчий дом, хотя за три года его службы в армии постройки ничуть не изменились. Та же тесовая крыша, те же синие ворота. В палисаднике—зрелые вишни: вот-вот брызнут алым соком. Деревья разрослись так буйно, что задевают макушками электрические провода. «Замкнуть может,—подумал Геннадий,—да и окна совсем заслонили. Подпилить надо бы...»

Геннадий вошел во двор. Собаки дружно затрусили к нему. Удивительно, три года не видели, и лишь сутки, как дома объявился, а помнят, узнают.

Истошный рев теленка, загнанного собаками в угол, напомнил Геннадию об утренней стычке с отцом.

Он решительно распахнул дверь в сарай. Теленок, овцы и свинья устремились к выходу, но собаки как по команде бросились к воротам и, опередив их, уселись одна против другой. Напуганные овцы чуть не сбили Геннадия с ног.

— А ну, пошли отсюда!—крикнул он на собак. Джульбарс, виновато волоча по земле хвост, отошел от ворот, но Пират даже не двинулся с места.

— Пират, марш отсюда!— еще раз крикнул Геннадий, но собака лишь повела прищуренным глазом в его сторону. А потом, словно в насмешку, широко, с визгом зевнула и улеглась поудобней. Убрать собаку с дороги силой Геннадий не отважился.

Мать не слышала, как сын вошел в избу: она гладила рубашки, которые он носил до армии. Почувствовав взгляд, обернулась.

— Измялись все, в сундуке лежавши. Да и вырос ты, поди, из них, малы, верно, стали,— любовно разглаживая каждую складку, проговорила мать.

«Старенькая ты моя,— думал Геннадий, заметив на лице матери множество морщинок,— и все-то ты в заботах, в делах. И волосы совсем седые стали...»

— Ма, давай я сам! Да и не надо их разглаживать, все равно малы. Привез я рубашек, хватит.

Мать, отойдя на шаг от стола, с улыбкой глядела на сына, как он смешно вспрыскивал белье, надувая щеки; как вздрогнул, когда электрический утюг наехал на большую каплю и зашипел...

— Ма, я был в правлении,— продолжал сын.— Завтра в Чебоксары, за машиной еду.

— За какой еще машиной?

— За легковой, маманя. В армии я тоже ведь на легковой ездил.

— Хорошо бы, пачкаться меньше будешь,— ответила мать, по-прежнему глядя на сына.

Геннадий отставил утюг, подошел к матери.

— Ма, почему ты такая бледная? На воздухе мало бываешь? Или болезнь обострилась?

— Да нет, что ты, сынок, хожу я потихоньку по дому-то...

— На операцию тебе надо, вот что.

— Надо, надо, пожалуй... Тебя ждала, вдруг, думаю, помру и не увижу тебя. А сейчас можно ехать...

Казалось, встретившись, не наговорятся мать с сыном, а сейчас вроде и говорить-то не о чем и слов нет подходящих...

Со двора донесся скрип ворот. Значит, вернулся отец. Первым заходит Орлик и, не успев ступить во двор, кидается на собак, пытается укусить. Но те лениво отмахнулись от него, не злятся: привыкли. Следом вошел Элекси. Он смотрит на распахнутые двери сарая, потом идет к нему и выводит оттуда красного теленка. За калиткой

мелькает голова Павла Макаруна — во двор войти он боится. Павел сует смятые бумажки; Элекси не стесняется, берет. Хозяин уводит теленка.

Потом в калитке появляется владелец свиньи. С ним отец толкует довольно долго. Наконец рыжебородый маленький старичок достает из кармана деньги, старательно отсчитывает и нерешительно протягивает их отцу. Но тот качает головой. Тогда старик прибавляет еще одну бумажку. Договорились. И свинья, радостно взвизгивая, выбегает на улицу.

Наблюдая из окна эту куплю-продажу, Гена стоял, как на раскаленных углях; лицо его пылало от стыда за отца.

— Мам, а отец эти деньги отдает колхозу или себе оставляет?

— Зачем же колхозу? — простодушно удивляется мать. — Ведь кормим скотину-то, поим ее мы, а не колхоз.

— Да, не зря нас люди ненавидят. Вот уже два дня, как я приехал, а кто к нам пришел? Никто!.. А еще сегодня я слышал, как люди говорили, что отец нарочно загоняет во двор скотину, чтобы денег за нее содрать...

— Моего дела тут нет, сынок, не знаю я ничего, — тяжело вздохнула мать.

Отец вошел в избу, молодецкато выпрямившись и одергивая выбившуюся из-под ремня гимнастерку. На лице нескрываемая радость.

— Мархва, ты нас кормить думаешь или нет? — подкручивая усы, обратился он к жене. Потом посмотрел на сына: — А ты, никак, уже хватил малость, глаза что-то поблескивают?

— Как же, ты ведь меня с самого приезда угощаешь...

Лицо отца мгновенно переменялось. Он оглядел сына с ног до головы. На какой-то миг глаза их встретились; ни тот ни другой не отвели взгляда.

— Чем же ты недоволен, сынок? Намекаешь на что? Хочешь, ящик водки сию минуту из магазина доставлю? За наличные, не в долг! И в кассе тринадцать тыщонков лежит...

— Спасибо, отец. Только непривычно мне что-то пить на нечестные деньги. Уж я как-нибудь сам заработаю...

— Ну, как знаешь, только ты в мои дела носа не



суй! Маловат еще меня учить... А ты сходи в правление да и освободи меня от этой должности!—с издевкой взглянул на сына Элекси.—Ведь тридцать один год отдать колхозу—это не три года в солдатах походить. Да войны четыре года...

— Отец, пойми ты, народ теперь другой стал, не нужен ему сторож, ведь никто не выпустит нарочно свою скотину в поле! Ну, поработал, посторожил—и хватит...

— И-и-их, мало ты знаешь нашу деревню...

— Знаю, нет таких хапуг, что на колхозное зарятся. И ты не бери деньги с людей, а уж если берешь—отдавай их в колхоз.

— Умен ты у меня, сын, очень умен. Не зря поворят: стоит выйти за порог—в стократ ума прибавляется. Солдат, ничего не скажешь...

— Да хватит тебе, старый, зудеть-то!—вмешалась мать.—Как сын ступил через порог, ни одного теплого слова от тебя не слышал.

Геннадий, демонстративно не замечая отца, вышел из дому.

— Сам больно ершист,—уже мягче отозвался отец, направляясь к умывальнику.—С утра цапается со мной...

### III

А утром было так...

В дверях летнего очага неожиданно появился сын. Элекси оторвал взгляд от котла, по которому с яростным шипением сбегали струйки закипевшей воды.

— Отец, сейчас же выпусти со двора весь скот, слышишь? Не надоело с людьми лаяться? Хватит, я не хочу, чтоб меня тоже Собакой называли!—выпалил сын и, резко повернувшись, зашагал со двора.

Однако на отца его слова не произвели особого впечатления. Он по-прежнему резал на куски мясо и бросал в котел. И только спустя минуту-другую Элекси проворчал:

— Ишь, пострел, меня учить вздумал...

Подбросив в огонь сухого орешника, он вымыл руки в деревянной колоде, обтер их холщовым фартуком, вышел во двор и устало опустился на бревно. Элекси достал из кармана портсигар—армейский подарок сына—и внимательно разглядел крышку с изображенными на ней тремя охотниками и собакой.

«Только у нас, у чуваш, не любят, когда железо да-  
рят,— подумал он.— Говорят, от железа холод между  
близкими... А может, зря болтают».

Элекси раскрыл портсигар и увидел тоненькие палоч-  
ки «Прибоя».

— Помнит, какие отец курил, да только теперь, брат,  
мы получше тянем,— беззлобно ворча, Элекси с треском  
захлопнул металлическую коробку, достал пачку «Бело-  
мора».— Так-то, не лыком шиты...

Голова приятно закружилась от дыма — Элекси с  
утра взял в рот первую папиросу, мысли потекли спо-  
койно, неторопливо ..

Вот и дождался он своего единственного сына. Три  
года служил Геннадий. Любит его Элекси, хотя и скры-  
вает чувство и от себя, и от людей, тем более — от сына.  
Но иногда на людях (правда, общается он с ними ред-  
ко) не преминет, бывало, похвастаться: «Гена мой —  
человек, не какая-нибудь козявка, самого полковника  
на машине возит...»

А тут вон какой оборот вышел: отца поучает! При-  
ехал только вчера, а все не по нем: то не так, другое не  
эдак. Кровать, видишь ли, не на месте, иконы ему по-  
мешали — в сени выставил. Отцу что, мать бы пожалел,  
она ведь с богом дело имеет... Ничего, проживем — уви-  
дим, авось, и выбросит дурь из головы, делом займется.

Элекси встал — чья-то свинья пыталась рылом отодви-  
нуть подворотню.

— Чья же это свинья? — стал думать Элекси. — Тре-  
тий день держу — никто не ищет. А ведь ее кормить-по-  
ить надо, не святым же духом она жива. Ну, хозяин, без  
пятерки ты ее у меня не получишь... А этот пушмак\*  
Павла Макаруна. Дочери на свадьбу его растит. Дочь-  
то, говорят, с Геной переписывалась, да ничего не по-  
делаешь: второй раз за лето попался, хочешь-не хо-  
чешь, пришлось загнать. Кто знает, может и породнить-  
ся доведется, но иначе нельзя — выпусти его, он тут же  
на поле сбежит...

Оглядев плененное четвероногое войско, Элекси снова  
вспомнил о выходе сына и распалился:

— Вот сморчок, и какое тебе дело до моей работы?  
Выкормил-то тебя я, в люди вывел — тоже я! Ишь, надел

---

\* пушмак — перезимовавший теленок.

гимнастерку — и на дыбы... Ничего, проголодаешься — и этот хлеб вкусным покажется. А сейчас, видать, заелся на дармовых харчах...

Элекси перенесся мыслями в голодное прошлое. Два лета стояли, как на экваторе, хлеб спорал, едва выбившись из каменной земли. Скот вымер от голода и болезней. Много с тех пор прошло времени, а помнится лихая година. Чего только не довелось испытать Элекси — фронт, смерть детей... До Гены у них было трое. А попробуй, накорми да одень их, когда в доме ни корки хлеба. Мало того, на третий или четвертый год, как колхоз сколотили, чья-то безжалостная рука подпалила и без того бедное хозяйство Элекси. Самих дома не было — в поле находились, и сгорел дом дотла, вместе с детьми... Вор ворует — стены остаются, а огонь — все подчистую пожирает... Мать чуть с ума не сошла, плача по детям, да и сам Элекси ходил, не видя и не слыша ничего вокруг. Но как ни тяжело, а жить надо. Колхоз помог бревнами, остальное довершили сами. Словом, жизнь не баловала Элекси, показала ему все стороны...

— Лекси! — окликнула его жена. — Ужин-то стынет, иль не станешь есть?

Он очнулся от воспоминаний, повесил полотенце на место и молча сел за стол.

А на другое утро...

#### IV

Геннадий упорствовал: он не пустил в ворота пригнанных отцом овец и свиней. Пришлось Элекси отправить их во двор пожарки и посадить там Пирата: пожарникам Элекси не доверял. А к обеду его вызвали в правление. «Донес-таки, щенок», — подумал Элекси.

Разговор он начал сам.

— Брал и буду брать! — с ходу выпалил он. — Хотите снять с полевых — снимайте, ваша воля. Но попомните мое слово: все колхозное добро стравите скоту, все до капли!

И ушел. Поскакал на свой «НП» — Межевую гору. Да и то сказать, работа полевого сторожа — что ни на есть скандальная. Редко кто не назовет его обидным словом, будь он и трижды прав. И в то же время все боятся Элекси. Обид он не прощает никому: рано или поздно, а все равно загонит чью-нибудь скотину к себе во двор. Тут уж держись, хозяин! Он наперечет знает, чья это

корова, свинья, курица... А скотина — ей что: чуть заезвался хозяин, оставил открытыми ворота, она и была такова — глядишь, уже в поле. А там Элекси. И тут поди докажи, что не нарочно выгнал корову на колхозные угодья. Жаловались на него колхозники, не раз увольняли из сторожей. Однако охотников на его место не находилось, и снова председатель шел к Элекси на поклон, соглашался со всем, что просил Элекси: полтора трудодня в сутки, лошадь на постоянное пользование, ну и... «свободу действий».

Всю прошлую ночь не спал Элекси: ждал, погонит соседний колхоз свой табун в ночное, и опять вытопчут лошади клевер. Но табун так и не промчался: видать, почуяли конюхи засаду, обошли клевер стороной.

Бывало, по две, по три ночи приходилось не спать — и ничего, а сейчас Элекси никак не может справиться с дремотой. Еще раз оглядев колхозные поля, он вскочил в седло и погнал коня в сторону деревни. Растянувшись в прохладном сарае на телеге, он тут же захрапел. Но выпасться ему не пришлось — проснулся от шума дождя. И снова поскакал в поле — туда, где дорога...

Облака уже порвались в нескольких местах, и в промежутке между ними посветлело. Луна, похожая на гребенку, начала расчесывать редеющие тучи. В воздухе стоял терпкий запах молодого хмеля.

«Похоже, погода наладится», — подумал Гена, втискивая в багажник бидон с маслом. В леспромхоз он ехал под проливным дождем: позарез нужно было масло для электротрансформатора. Два дня бездействовала молотилка. Хорошо еще в леспромхозе не отказали, помогли.

Гена не стал дожидаться электрика, завел мотор и поехал. Выехав из лесу, он увидел на берегу реки с десятков грузовиков, застрявших в вязкой глине. В другой раз Гена непременно остановился бы и помог шоферам, но сейчас он очень спешил и поехал дальше. Да и самому как бы не засесть вместе с ними, без разгона газик ни за что не одолеет скользкую глиняную гору. Удачно взяв подъем, на верху косогора Гена все же вынужден был остановиться: два грузовика наглухо загородили дорогу. Немного помедлив, он решил взять чуть вправо, но едва успел сесть за руль, перед кабиной встала фи.

гура всадника. Лошадь спокойно глядела в слепящие фары автомобиля. А направо расстилалось густое море яровой пшеницы...

Гена погасил свет, выключил мотор. И тотчас до него донесся отцовский голос:

— Куда прешь, свинья! Иль, думаешь, начальника возишь, так и хлеб можно топтать? Видали мы таких! А ну-ка, убирай свою машину, не то момент — и спущу баллоны!..

Гену развеселил гнев отца, и он, улыбаясь, открыл дверцу:

— Добрый вечер, отец!

Отец, конечно, знал, что в машине сын, однако, услышав его голос, удивился:

— Ах, вон это кто! Не ты ли мне доказывал, что полевые сторожа теперь не нужны? Давай назад, я научу тебя колхозное добро уважать. Пожалуй, не останови я тебя, смял бы не меньше десятины! Шалишь!..

Гена молча улыбался.

— В хлеба я и не думал заезжать, отец. Только вот в деревню мне срочно надо. Что ж, коль нет дороги, пойдем лешком.

— Счастливо. А я машину постерегу, не волнуйся, Геннадий Алексеич, — ухмыльнулся Элекси.

Гена подошел к грузовику, намертво засевшему в глине.

— Эй, шофер, ты жив? Давай попробуем тросом сдвинуть твою машину!

— Нет их никого: в деревню пошли, за трактором, — ответила женщина с кузова.

— Давно?

— Да нет, с версту успели, пожалуй, пройти, не больше.

— Вот черт, — уже начал волноваться Геннадий — И троса нет с собой..

— Трос есть, только он под бревнами, не достать его, — отозвалась женщина. — Кто знал, что разненастится, с утра да и весь день солнечно было...

— А ты все равно и с тросом ничего не сделаешь, — сказал отец. — Иди лучше домой, поужинай, а я побуду возле машины.

— Домой? — удивился Геннадий. — Да ты что, отец? Для трансформатора позарез масло нужно, а ты «домой». Молотить надо, пока погода стоит. Гурий Ивано-

вич мне всего три часа дал, а сейчас, пооди, все пять ушли.

— Без трактора ничего не сделаешь. Жди, прийти скоро должен.

— Да как же скоро, если все трактора в поле?

— Ничего, один все равно придет...

— Ты пойми, отец, тороплюсь я. А за то, что одним колесом по хлебам проеду, я сам отвечу.

— Э, нет, пока я тут, никуда не поедешь. До вечера никого не пропустил, уж тебе и по давню не позволю.

— Слушай, ведь ты жалеешь один метр несжатого хлеба, а сгниют центнеры сжатого...

Отец молчал. Геннадий знал, что спорить с отцом бессмысленно. Обтерев ноги, он сел в кабину.

— Что ж, будем ждать трактор. Только пойми, отец, виноват будешь ты.

— Давно бы так,— обрадовался Элекси.

С низины донеслось фырчанье мотора. Элекси вспрыгнул в седло.

— Мотри, Гена, потопчешь хлеба — не пощажу...

Сын не отозвался, и Элекси поскакал к реке. Как только смолк стук копыт, Гена включил мотор и рванул вперед. На какой-то миг колеса врезались в густую стену пшеницы, а в следующее мгновение «газик» выскочил на дорогу, миновав вереницу застрявших машин.

Элекси, услышав рокот мотора, понял, что сын его обманул, и, повернув коня, бешеным галопом помчался за машиной. Однако красные огоньки удалялись все быстрее и быстрее.

— Гена! Гена! Сукин сын! Над отцом смеяться!— кричал Элекси, будто сын мог услышать его.

На ходу соскочив с лошади, он сорвал с плеча двустволку и, прицелившись в мелькающую красную точку, враз нажал оба курка. Ночь потряс гулкой выстрел.

Однако «газик» умчался.

— Хосподи, хосподи, убьет ведь человека, ей-богу убьет! Ай, собака,— испуганно причитала женщина в кузове.— Отцом, вроде, называл, неужто в сына родного палил? Боже ты мой, какой изверг!..

И в поле снова воцарилась тишина. Давно уже не слышно «газика», успокоилась и женщина, поносившая на чем свет Элекси. Невозмутимо смотрит на земные дела месяц. Элекси трясущимися руками заряжает двустволку; лицо его бледно, глаза сверкают гневом и

обидой. Сын, родной сын осрамил на глазах у людей, выставил его посмешищем... Лошадь, словно угадывая состояние хозяина, ластится к нему, тычется мордой в воротник, в плечо. Несколько успокоившись, Элекси достал из кармана завалившиеся комочки сахара, дал лошади.

В эту ночь Элекси не ночевал дома. А утром чуть свет пришел в правление и долго писал какую-то бумагу. Как только пришел председатель, он следом вошел в его кабинет.

— Ну, Гурий Иванович, не могу больше терпеть. Родной сын под корень рубит. Вот акт. Созывай сегодня же заседание.

— Что стряслось, Алексей Иванович?—делая вид, что ничего не знает, спросил председатель.

— Читай, там все написано. Иль, думаешь, он твой шофер, так ему все можно? Шалишь! Ты говори, соберешь правление иль нет?

— Твое счастье, Алексей Иванович, через час так и так начнется заседание, вчера еще назначили.

И правда, в приемную один за другим стали собираться члены правления. На повестке дня — отчет полевых бригадиров.

Среди пришедших Элекси заметил сына. Увидел отца и Гена. Тот сидел рядом с председателем, подперев голову руками. Седеющие волосы спутаны, нависли на лоб. Побуревшая от солнца кожа собралась в мелкие морщинки вокруг глаз и рта.

«Напрасно я его обидел,— думал сын.— Можно было и пешком этот бидон донести».

— Сначала мы заслушаем первую бригаду,— начал заседание председатель.

Услышав эти слова, Элекси вскинул голову. На мгновение его глаза встретились с глазами сына, но он тут же перевел взгляд на председателя и оказал:

— Вы тут хоть до завтра со своими отчетами штаны просиживайте, а моя работа не ждет. Давай, председатель, акт мой сначала. А то вон уже машины в гору полезли, в момент сровняют все поле...

Председатель достал из бумаг замусоленный тетрадный листок, кашлянул, поднялся из-за стола, внимательно посмотрел на сторожа.

— Что ж, если человек торопится, надо его уважить. Тут, товарищи, вопрос небольшой, быстро разрешим.

Правда, об этом я знал еще с вечера — мне Геннадий Алексеевич рассказал. Но я все же зачитаю акт, чтобы поставить вас в известность.

— Читайте, коль торопится товарищ,— раздались голоса.

«Акт,— начал читать Гурий Иванович.— Я, Микин Алексей Иванович, полевой сторож колхоза «Прожектор», составил 27 июля нижеследующий акт по таким причинам. Вчера вечером колхозный шофер Микин Геннадий Алексеевич проехал одним колесом машины ГАЗ-69 по яровой пшенице около горы Межевой. Ширина следа четверть метра, длина — четыре с половиной. С этой площади можно было получить самое меньшее пуд хлеба. Этот хлеб надовзыскать с Геннадия и обсудить на правлении. В чем и подписываюсь»,— заключил председатель.

Члены правления помолчали, некоторые заулыбались. Но Гурий Иванович вполне серьезно продолжил:

— Тут, товарищи, и я виноват: ведь это я наказал Геннадия Алексеевичу любым путем доставить масло. Да и выхода другого нет: иначе бы мы и прошлую ночь, и сегодня без дела простояли.

Элекси сидел, изредка поглядывая на сына. Лицо Геннадия покрылось красными пятнами, он нервно покусывал губы.

— Пожалуй, мы дадим слово Алексею Ивановичу,— сказал председатель.

— Мое слово у вас на столе. Все слышали, решайте,— холодно ответил Элекси.

Но тут встал Геннадий, от волнения забыв даже попросить слова.

— Есть моя вина, признаю,— начал он.— Спешил я, а дорогу, как назло, две машины перегородили... Сегодня утром съездил я на то место, где проехал. Сноп большой получился. Сколько в нем — пуд или два, я готов возместить. Но удивительно другое: в колхозе мы живем тридцать лет, так до каких пор мы будем полевого сторожа держать? Ведь у нас теперь не отдельные полосы, а все поле наше? Мне кажется, полевой сторож в наше время — устарелый человек, в коммунизм мы с ним не можем идти...

— Ага,— перебил его отец,— «в коммунизм не можем». А если ты, строитель коммунизма, первый будешь



колхозное добро топтать, не увидим мы твоего коммунизма как своих ушей!

Но сын продолжал:

— Вчера мы с Гурием Ивановичем разговаривали и об этом. Четыре года назад отец составил сто восемьдесят актов, в нынешнем году — двадцать. Я предлагаю упразднить должность полевого. Ведь каждый, кто заметит на поле скотину или птицу какую, обязательно прогонит ее, не правда ли? Так зачем же нам держать для этого особого человека, зачем трудодни начислять?

— А ведь, пожалуй, прав парень...

— Вон, в Вирьялах, уже два года живут без сторожа и не жалуется!

— Да и у нас будет порядок. И сейчас ведь не только скот виноват. А куда мы смотрим?

Геннадия поддержали многие.

— Товарищи, Алексей Иванович всю жизнь в колхозе проработал. Поэтому, мне кажется, нужно назначить ему пенсию, все равно скоро шестьдесят лет ему исполнится, — предложил председатель.

— Хорошо, очень хорошо будет, не лодырь какой-нибудь Алексей Иванович, неплохо послужил колхозу...

Тут поднялся Элекси. Губы, щеки его нервно дергались, но он сумел пересилить себя и сказал:

— Хорошо, только не вздумай еще раз меня просить. Ни за какие деньги не соглашусь!

Элекси вышел из правления, по пути домой зашел во двор пожарной сторожки, выпустил загнанную скотину и спустил с цепи Пирата.

— Домой, домой! — пнул он ногой Пирата, когда тот стал тереться об его ноги. Собака, почувяв волю, радостно побежала к дому. Элекси позвал свистом лошадь, которая аппетитно хрустела свежескошенной травой, и пошел со двора. Лошадь послушно поплелась за хозяином. Элекси зашел в магазин, купил бутылку водки, лошади вынес целую фуражку сахара и присел на крыльцо. Наполнил стакан, залпом выпил, закусив черствым пряником. Потом сунул бутылку с оставшейся водкой в карман, вернул стакан продавцу и стал снимать узду с лошади. Лошадь, почувяв запах спиртного, начала было упрямитесь, но потом смирилась. Элекси же, сняв узду, не оглядываясь, пошел к дому.

— Что с ним?— удивился продавец.— Никак, Элекси пить надумал?..

Лошадь, подобрав с земли остатки сахара, зашагала за хозяином

v

Элекси не находил себе места. Перекладывал туда-сюда все, что попадало под руку, несколько раз ходил с двустволкой в поле, возвращался, садился на чурбан возле сарая, курил папиросу за папиросой. Собак он перестал замечать, кормил их, когда они начинали ему надоедать. Радовался, как ребенок, когда к дому подбегал вырвавшийся из табуна Орлик, ласкал его, угощал сахаром, а потом прогонял со двора.

Все его раздражало. С женой и сыном он не разговаривал, ночевал в амбаре. Ночью почти не спал, вставал, выходил во двор, курил, а чуть свет шел в поле. Однажды заметил на гречишном выгоне двух лошадей из соседнего колхоза, пригнал их домой и по привычке закрыл в сарай. Однако, посидев на чурбане и выкурив три папиросы, выпустил со двора.

Элекси ждал, что не сегодня-завтра придет к нему человек от председателя. Но о нем словно позабыли. А сын будто и не замечал отцовского горя, с утра уходил на работу, возвращался поздно. Только жена понимала его состояние: частенько начала ходить к соседям, и к ним в день по два, по три раза стали заглядывать люди, разговаривали о том, о сем.

Прошла неделя. Элекси вышел на работу. Он возил снопы на Орлике. Во время обеда отец и сын встречались, но по-прежнему не разговаривали друг с другом.

Однажды ночью налетел сильный ветер, а потом на землю хлынул страшный ливень. Отец перебрался в избу — в амбаре протекало. Утром, как обычно, отец с сыном, одевшись, вышли на работу. И тут Элекси заметил коровьи следы, ведущие от дома к колхозной бахче. Элекси, пройдя поворот, увидел свою корову на колхозной капусте. Сердце сторожа екнуло, но он не спеша подошел, выгнал корову на дорогу... «Вот черт, неужто сам забыл калитку запереть, иль ветром распахнуло? Как же собаки-то ее проглядели? Хотя свою корову они не тронут...»

Элекси погнал корову к дому. И вдруг ему показа-

лось, что на него кто-то смотрит. Оглянулся кругом — никого. Только вдали поднимались на Межевую гору несколько женщин. Но они далеко, авось, и не узнают...

## СВИРЕЛЬ

**К**ак-то, отдыхая в небольшом курортном городке на юге, мы отправились в воскресный день на выставку местных художников и скульпторов. Картины меня не заинтересовали, и я, бегло окинув их взглядом, проследовал в скульптурный зал. Тем более, что и сам я в некотором роде причастен к этому делу — в свободное время пытаюсь что-то выточить, вырезать, слепить. Первое, что привлекло меня, были гипсовые скульптурки, и среди них «Женщина на сенокосе». В ее одежде, осанке я вдруг уловил до того знакомые и близкие черты, что чуть не вскрикнул: «Да это же чувашка, землячка моя!» Еще больше меня поразила «Плачущая любовь». Чувствую, что внутри у девушки столько боли, столько горя, а на лице этого не видно. Талант, значит, у скульптора был, если он сумел так ярко выразить внутреннюю жизнь человека. И во второй работе усмотрел чувашские черты. «Н. И. Хурашов» — прочел я табличку под скульптурой.

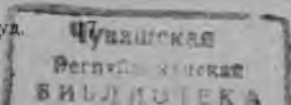
Фамилия очень похожа на чувашскую. Из рассказа экскурсовода узнаю, что Хурашов — полковник в отставке, живет там-то, а вот кто он по национальности, экскурсовод не знал.

В тот же день я разыскал дом скульптора. Познакомились. Да, я не ошибся: Никита Иванович в самом деле мой земляк, чуваш. Правда и то, что он полковник, вышел в отставку всего два года назад.

Рассматривая работы Никиты Ивановича, я решил, что скульптором он был всю жизнь — с детства, в армии и сейчас. Однако Никита Иванович сказал, что все работы, представленные на выставке, он сделал за полтора года. Я засомневался, но скульптор начал рассказ...

Безграничные возможности и силу глины я ощутил, пожалуй, в восемь лет...

Весной, когда природа оживает после зимней спячки, первой наливаются соками ветла. Срежешь с нее гладкую веточку, постучишь слегка — и сердцевины как



не бывало, а у тебя в руках полая трубочка для будущего шыбыра \*. А за огородами глубокий овраг, поросший мелким леском. Вооружившись ножом, бежишь туда, чтобы с гладкого ствола орешника содрать ленту длиною в метр. А потом обернешь этой лентой ивовый свисток — и готова свирель величиной чуть ли не с коровий рог. Не знаю почему, но у нас в Вурнарах называют этот музыкальный инструмент шыбыром, хотя знают, что шыбыр мастерят из бычьего пузыря и он ни в какое сравнение не идет с этой кустарно сделанной свирелью. И все же, если понаделать на ореховой коре несколько отверстий да иметь вдобавок здоровые легкие, смело можно вступить в состязание с самым виртуозным игроком на пузыре.

Своими скромными способностями я обязан отнюдь не какому-нибудь выдающемуся человеку, скорее наоборот. Наше деревенское стадо пас неизвестно откуда заявившийся парень по имени Захар. Сухощавый и длинный, он был очень похож на цыгана. И хотя мне сейчас уже трудно воссоздать его лицо, глаза Захара, черные и маленькие, смотревшие на людей с каким-то ледком, помню до сего дня. Питался и ночевал Захар подворно, как и все пастухи.

Помню день, когда настала наша очередь кормить Захара. Явился он к нам перед заходом солнца и сел на жерди, что лежали во дворе, не спеша стал разувать лапти. Так же не спеша вытряхнул их, разостлал сушить портянки. Я пристально следил за всеми его движениями и не выпускал изо рта только что смастеренной свирели. Захар, очевидно, тоже следил за мной и прислушивался к звукам моего самодельного инструмента.

— А тебе, видать, медведь на ухо не наступил, — неожиданно произнес пастух.

— Как же он мог наступить, когда он в лесу? — резонно возразил я.

Пастух рассмеялся, и даже его ледяные глаза на какой-то миг потеплели.

— Послушай-ка, музыкант, ты знаешь Арсютин овраг? По его берегу очень много глиняных ям, а на самом верху есть яма с белой глиной. Вот сбегай туда и принеси ком глины величиной со свою голову.

— Не пойду. Альдонна изобьет.

— А кто эта Альдонна?

---

\* шыбыр — музыкальный инструмент наподобие волынки.

— Кто? Девчонка.

И снова рассмеялся пастух, а потом укоризненно произнес:

— Эх ты, музыкант, да неужто не совестно тебе девчонки бояться? А еще брюки носишь. Ну коль так, возьми палку. Кто тронет — палкой. Понял? Палкой! Ну, иди, не срами мужское племя, иди..

Глаза Захара вдруг засверкали холодными огоньками, а потом невидяще уставились куда-то в бездонную даль.

А я прихватил бабушкин ореховый посох и засверкал пятками к Арсютину оврагу.

На мое счастье, Альдонна мне не встретилась. Видно, она была занята по хозяйству — из двери домика, который, казалось, вот-вот свалится в овраг, валил дым. Трубы не было, и стены и потолок были покрыты толстым слоем копоти. Еще издали от домика несло чем-то банным. Вот тут и жила Альдонна со своим отцом, краснобородым дядей Пурхилем. Не знаю, может, потому, что мне больно было сносить обиды от Альдонны, которая была старше меня всего-то на четыре года, я люто ненавидел дядю Пурхилья, но и побаивался его. Альдонну же я дразнил «Алтуни» \* и вслед за остальными ребятами — «Комбед». Это последнее слово мне казалось наиболее обидным и злым. Потом я узнал, что дядя Пурхиль был председателем созданного впервые в деревне комитета бедноты.

Я благополучно извлек из оврага ком белой глины и направился домой. Бабушкин посошок остался без применения.

Пожуинав, Захар достал из кармана нож и выстругал лопаточку и несколько палочек. Потом смочил комочек глины в колоде и стал разминать ее в ладонях. Через несколько минут из бесформенного комка вылепилась птичка. Захар проделал в ней несколько отверстий и поднес к губам. По двору разнослась нежная трель. Пастух сделал еще две птички, поставил их на верхнюю планку двери и сказал:

— Дня два пусть посохнут, не трогай и не двигай их.

— Дядя Захар, научи меня!

— Приходи завтра в табор и глины захвати, научу.

---

\* ал туни — созвучие двух разных слов, которое не содержит ничего обидного, — предплечье.

— Одному прийти или Аркаша прихватить?

— Поначалу сам научись,— сухо произнес пастух. А потом молча взобрался на телегу, что стояла среди двора, и вытянулся на ней. Мать вынесла ему подушку и два армяка — постелить и укрыться.

Ночь я спал беспокойно. А тут еще этот нелепый сон, который помню до сих пор. Будто Альдонна украла все мои свирели, что смастерил мне Захар. Я же схватил бабушкин посох и гонюсь за ней по пятам. Но она бежит все быстрее и быстрее, и я все больше отстаю от нее. И вот Альдонна уже скрылась из виду. От обиды я заревел и проснулся. Ничего не соображая, с ревом кинулся к сараю. Все три свистка были на месте.

Каждое утро теперь бежал я в Арсютин овраг, набивал холщовую сумку глиной, а потом мои исцарапанные, в цыпках ноги несли меня к мельнице, сворачивали чуть влево и по пыльной дороге мчали на берег Цивилия.

— Ну и спишь ты, музыкант. Видишь, овцы уже наелись, скоро в табор их гнать, а ты только заявился. А еще хочешь научиться свистки лепить!— недовольно ворчал Захар.

— А что, теперь не научишь?— пугался я.

— Научу, только сначала постереги стадо, а я вздремну чуток. Пусть еще немного порезвятся, а потом гони в табор.

Захар забирался на гору, ложился в тени старой ветлы и, едва прикрыв глаза, раздражался богатырским храпом. А я, словно затравленный щенок, носился вокруг стада. Когда совсем выдыхался, овцы, будто сжалившись надо мной, начинали сонно тыкаться друг другу в животы, пытаюсь спрятаться от зноя. Я же, радостный, гнал их на берег Цивилия.

Табор расположен на месте старой водяной мельницы. По обеим сторонам запруды посажены разлапистые ивы, чтобы дамбу не размыло водой. Сохранилась и наполовину сгнившая мельница. На провалившейся крыше и на чердаке растет лебеда, а выбитые стекла и проем двери зияют, как пустые глазницы. Вокруг непролазные заросли крапивы. Мне всегда было здесь жутковато, я был уверен, что в мельнице полным-полно водяных змей и всякой другой нечисти. Захар и тот заходил сюда редко, а когда выходил, подливал масла в огонь:

— Чуть-чуть меня черти не съели.

И сейчас, припомнив разом все страхи, я опрометью бросился к спящему Захару. Заслышав топот моих ног, он тотчас же вскочил, непонимающе озираясь вокруг.

— Научи меня мастерить свирели,— тяну я.

— Ну, ты и сам хорошая свирель, а если я тебя еще научу их делать, то сколько их будет на белом свете? Ну-ка, посчитай!

— Две,— отвечаю я.

Захар окончательно просыпается, заливается раскатистым смехом и ласково треплет меня по спине.

Мы усаживаемся на его поношенный пиджак. Захар отламывает комок глины и мне велит взять такой же. Потом тщательно раскатывает глину на своей широкой ладони, и она быстро превращается в гладкую лепешку. А у меня глина никак не делается мягкой.

— Смотри, чтоб воздушных пузырьков не осталось. Иначе, когда будешь сушить, все свистки потрескаются,— поучает Захар и берет мои руки в свои, давит на пальцы, и глина делается послушной и мягкой и неожиданно превращается в птичку. Птички у Захара получаются все одинаковые: с широкой, точно у ястреба, грудью и с острым носом. Вот он делает изгиб на животе птицы, сверху на конце хвоста протыкает квадратное отверстие. Такие же отверстия делает на месте крыльев. Стараясь не размять птичку, пробует свистеть. И птица-великомученица издает радостный звук. Стоит прикрыть одно отверстие пальцем, звук меняется, прикроешь другое — свирель словно плачет, а отпустишь сразу оба пальца — звук резко вырывается из свирели и звонко разносится вокруг. Вот так, по очереди закрывая то одну, то другую дырку, можно вывести любой мотив. Хочешь — «Не гнись, орешник», хочешь — «Вниз по нашей улице».\*

Смастерив несколько свистков, Захар снова заваливался спать, а в мои обязанности входило следить за стадом до тех пор, пока оно не снимется с табора.

Целый месяц таскал я глину Захару — научился лепить птичек не хуже его. Вся доска над дверью сарая, все полки в чулане были заставлены моими свирельками.

Кто знает, возможно, я мастерил бы эти свирели и дальше, не случись одно происшествие.

\* «Не гнись, орешник», «Вниз по нашей улице» — известные чувашские народные песни.

Мы уже второй день ходили в школу. Как только кончались уроки, наперегонки мчались домой.

— Смотрите,— остановил я ребят,— неужели так рано пригнали стадо?

— Да нет, это от стада отбилась несколько овец,— сказал кто-то.

Но чем дальше шли мы по улице, тем больше овец нам попадалось. Сердце мое почувствовало недоброе: «Уж не заболел ли Захар?»

Все стало ясно, как только мы дошли до сельсовета. Здесь толпа окружила две телеги. Около каждой — по милиционеру. У одного рука перевязана бинтом, а на ладони весь бинт пропитан кровью. Увидев на одной телеге черные волосы лежащего, я тут же признал в нем Захара. Протиснулся сквозь толпу ближе к телеге. Захар лежал лицом ко мне. Губы у него были совсем синие, лицо желтое, точно восковое. А глаза открыты. Зрачки закатились под лоб, и от этого становилось жутко. По лицу сбегали бороздки запекшейся крови.

— Захар! — не помня себя, крикнул я и рванулся к убитому. Но чья-то сильная рука вернула меня в толпу.

— Так ему и надо, волку злему,— сказал дядя Пурхиль.

— Самого тебя надо прикончить! — сквозь слезы выкрикнул я и бросился сквозь людскую стену домой. Вволю наплакавшись на сене, я поклялся отомстить убийце Захара.

На другой день два милиционера и председатель сельсовета повели меня на то место, куда Захар сгонял стадо в табор. Расспросили, где еще бывал Захар, где отдыхал.

Я рассказал, что помнил. И тут они решительно направились к старой иве на горе, где любил отдыхать Захар. В ней очень удачно было замаскировано большое дупло, прикрытое широким куском коры. Милиционеры вытащили оттуда несколько винтовок, мешок патронов и сделанный в кузнице большой нож.

С тех памятных дней земля не раз надевала и сбрасывала снежный наряд.

Сохранившиеся в памяти события тех времен, а позднее — знакомство с архивными материалами прояснили мои давние детские сомнения. Оказывается, Захар был сыном раскулаченного богача, жившего от нас в двадцати восьми километрах. Перед отправкой в Си-



бирь ему удалось бежать, и он нанялся в нашу деревню пастухом. Кто знает, возможно, если б он стал жить по совести, то не погиб бы собачьей смертью. Каждую ночь, как только засыпала деревня, он бежал в свое село и поджигал один за другим дома здешних активистов. Я и доньше поражаюсь его выносливости: шутка сказать, за короткую летнюю ночь проделать двадцать восемь километров туда и обратно. Вот, оказывается, почему он и спал во время обеда, а я стадо караулил.

А на берегу Цивилия он завязал настоящий бой с представителями Советской власти. Милиционеры хотели схватить его спящим, однако Захар учуял их и вбежал в старую мельницу и тут начался бой. Одного милиционера он убил, другого — ранил. Но не миновала и его горячая пуля.

Со смертью Захара у меня пропала всякая охота лепить свистки, и я забыл о них. Пожалуй, и не вернулся бы к этому ремеслу, если б не одно обстоятельство.

Мне к этому времени исполнилось уже пятнадцать лет. Окончив в соседнем селе семилетку, я ломал голову над тем, что же мне делать дальше. Все сомнения разрешил отец.

— Ну, довольно, прохвессор,— сказал он однажды.— Я ходил в школу одну-единственную зиму, а работаю бригадиром. С твоими же семью классами можно быть не ниже председателя РИКа. Так что кончим на этом твое образование.

Ну что ж, кончим так кончим... И я стал ходить в бригаду вместе со всеми.

Однажды, не помню, за каким делом, я ездил в Канаш. Вернулся глубокой ночью, выпряг лошадь и, надеясь в такую темень найти табун, оставил ее у себя во дворе. Бросил ей охапку сена на телегу, и сам лег тут же.

Вдруг в саду запела какая-то птичка. Я не могу ни с чем сравнить эту песню до сих пор. Она и сейчас звенит у меня в ушах так же звонко и ясно, как в ту ночь. Не знаю, может, не водились в наших краях соловьи или до начала их ночного концерта я попросту засыпал, но в этом певце я каким-то шестым чувством угадал соловья. Боясь спугнуть его, я лежал, не шелохнувшись, не

переводя дыхание. А тот заливается, с каждым разом все искуснее, все звонче. Казалось, его песня опьянит самого трезвого, окрылит самого несчастного. Вот он уже кончил свою трель, а в ушах у меня продолжается все тот же концерт. Чувствую, во мне поет не только сердце, но и каждая жилка.

В себя я пришел только от прикосновения холодного лошадиного носа. Лошадь старательно хрумкает сено, фыркает. Наверно, она и спугнула моего певца.

Однако соловей не из трусливых. Вот снова раздались робкие трели, и я погрузился в эти звуки и не заметил, когда заснул. Но проснулся я с той же песней в душе, хоть и спал на голой телеге, да вдобавок лошадь мешала — сено из-под меня вытаскивала. А сейчас стоит и, как малый ребенок, просит, чтоб ее напоили.

Дрожу от утреннего холода, но счастлив безмерно. И тут я вспомнил о свирели и, не раздумывая, бросился в Арсютин овраг.

И вот вновь запела в моих руках глина. И опять я, словно странник, вначале что-то потерявший, а сейчас вновь обретший, сижу возле сарая в своей «мастерской» — две скамейки, уставленные птичками.

То, что я снова взялся за свои свистки, знали, кроме домашних, еще двое. Знала Альдонна. Сейчас она со мной уже не ругается и не дерется. А дядя Пурхиль снес свой курной домик и выстроил новую светлую избу, с дымоходом. Он уже не бригадир, а председатель колхоза. Уважаемый человек в деревне. Даже отец, всегда сторонившийся людей, частенько стал заговаривать с дядей Пурхилем, а по праздникам приглашал его в гости и усаживал на самое почетное место — под иконой, на которой был изображен какой-то бог со злым лицом, и наливал ему белой, как сметана, пенящейся браги.

Альдонна была девчонкой смелой, но не нахальной. К нам она заглядывала частенько то за безменом, то за пахталкой. Не успеет, бывало, прикрыть за собой дверь, как бабушка начинала недовольно бормотать себе под нос:

— Ишь, корову купить сумели, а пахталку им заиметь не по силам.

Я не знаю, как проведала Альдонна о том, что я вновь взялся за свирели, но она всегда являлась в огород именно в ту минуту, когда я садился за глину. Уставится на мои руки и сидит, не говоря ни слова, а на

лице такое выражение, точно ее придавило непосильной горе, и вздыхает тяжело-тяжко. А то вдруг скажет:

— Дай, поиграю.

— Я вот тебе поиграю по уху! Не трогай, тебе говорят, пока не высохнет!— взвинчивался я.

Мне не жалко было свирелей, я подарил Альдонне их не один десяток, но я не выносил ее игры. Не умела она играть, казалось, вот-вот лопнут от ее скрипов барабанные перепонки.

Помучив ее, я все же давал ей одну из свирелей, и все-таки наш концерт непременно завершался дракой. Начинала Альдонна: то подкрадется ко мне незаметно да как свистнет в ухо или еще того хуже, вставит в рот вместо свирели пальцы и давай наигрывать:

— Мик, Мик, Микиток,  
Утащила твой свисток  
Хромая собака...

Я гнался за ней, настигал и, не щадя, лупил куда попало. Правда, после подобных схваток мои уши тоже горели не меньше суток. А вездесущая бабушка спешила известить отца.

— Сынок, слышишь,—доносился со двора ее голос,— внучек-то никак опять дочку Пуржилия обидел?

И тут «сынок», то есть мой отец, хоть я и был ему уже до плеча, брал меня за оба уха и показывал «Московскую церковь». Спасало меня лишь то, что я начинал визжать, как поросенок.

После двойной трепки я вылетал из дому, точно стрела из лука.

И все из-за Альдонны. Мало того, что из-за нее мне попадало от отца чуть ли не каждый день, я еще на всю жизнь остался лопухим.

А она опять, как ни в чем не бывало, появлялась в огороде, садилась рядом и просила:

— Поиграй на свирели, Мик...

— Нет уж, теперь ты играй, с меня хватит. Из-за тебя отец так сыграл мне по ушам, что они и сейчас еще звенят.

— А ты не ссорься со мной.

— А ты поменьше дразнись.

Минута молчания, и снова та же песня:

— Ну, поиграй, пожалуйста!

— Не приставай,— обрываю я,— не можешь сидеть спокойно, скачи в Арсютин овраг.

Альдонна вскакивает и исчезает за дверью сарая. Жди — опять начнет дразниться. Так и есть.

— Мик, Мик, Микиток,  
Розочкин женишок...

— Для Розы ты, небось, соловьем заливаешься,— с обидой в голосе говорит она, и только длинные тонкие ноги спасали эту несносную девчонку от моих побоев. Альдонна знала, что упоминания о Розе я ей не прощу.

Роза... Она приехала к нам вместе с родителями и поселилась у нас в соседях — купили дом дяди Хрисана, который со всей семьей переселился в Сибирь. Отец Розы стал директором нашей школы.

Дом дяди Хрисана с приездом новых хозяев точно преобразился: вместо соломенной крыши появилась новая тесовая, сарай и прочие надворные постройки тоже обновились. Но самое главное — каждый вечер из распахнутых окон доносилась какая-то непонятная мелодия.

— Ишь, майра\* завела свою музыку,— ворчала бабушка.— Нет чтоб на гармонике поиграть...

Я же, как только заслышу эту мелодию, весь обращаюсь в слух. Мало этого, я брал свою свирель и пытался вступить в соревнование с этим непонятным инструментом. Свирель у меня теперь лучше прежних, и на ней несколько отверстий. Так что мне не составляло труда выводить на ней известные чувашские песни.

— И в кого только ты удался, первый лодырь в деревне? Ни к какому делу у тебя нет тяги,— ругался отец.

Роза была на два года моложе меня. Я часто смотрел на нее, когда она выходила в огород. Все-то было хорошо у этой девчонки: и голубые большие глаза, и золотистые волосы, и одета она была так, словно сошла с коробки из-под пудры.

Когда она пришла первый раз к нам в огород, я подарил ей одну из лучших своих свирелей. Она повертела ее в руках, попробовала что-то насвистеть, потом вернула мне и сказала:

— Ну какая же это свирель? Вот у нас есть рояль...

---

\* майра — русская женщина или интеллигентка.

Я не дослушал ее и виртуозно засвистел на своем инструменте «Пчелку золотую». А она продолжала:

— Наша мама играет лучше.

— А кто она, твоя мама?

— Учительница.

На следующий день Роза принесла милицейский свисток.

— Этот куда лучше, чем твой,— с вызовом сказала она.

— Где ты его взяла?— загорелся я.

— Отец купил,— ответила Роза.

После трех дней мучительных исканий и стараний, я изобрел наконец такой свисток, в сравнении с которым милицейский ровно ничего не значил: в лучшую свирель я поместил не одну, а три горошины. Надеюсь сразить непокорную девчонку, я сделал широкий жест — подарил эту свирель Розе.

— Мой свисток все равно лучше,— вместо благодарности произнесла девчонка.

И тут я уже был готов проучить ее, как Альдонну, но, увидев красивые голубые глаза, открыто и непокорно глядевшие на меня, смягчился.

— Ну и что, лучше так лучше. Только ты сюда больше не приходи, слышишь? Роза-заноза!

С этого дня я забросил свои свирели навсегда и стал пропадать на Цивиле. Даже вездесущая Альдонна на какое-то время потеряла меня из виду, тщетно надеясь застать меня в огороде. Я же увлекся рыбной ловлей: надел на старый лубяной кошель марлевый мешочек, в котором мать откидывала творог, я часами возился в камышах, вытаскивая то пескаря, то гольца. А в том месте, где в Цивиль впадает небольшая луговая речушка, в густых зарослях осоки и камыша водился судак. Словом, за каких-нибудь два часа я наполнял рыбой трехлитровый бидон. Однако мой богатый улов не вызывал особого восторга у отца.

— Рыбалка и охота — это удел лодыря,— говорил он недовольно. Но тут за меня заступалась бабушка:

— Не тронь, пускай ловит, уж больно хороша рыба, от нее у меня даже суставы перестало ломить.

Однако репутация лодыря за мной закрепилась в семье надолго. А мне теперь это было безразлично. Я уходил из дому ни свет ни заря, прихватив холщовую сумку с луком и картошкой. Наловлю десяток пескарей,

разведу костер и варю уху. А потом выберу среди леса полянку и беседую с природой. Птичка запоет — я ей вторю. Выскочит из дупла глупый бельчонок — я не дыша смотрю на него. Вот и попробуй найди меня в этой чаше.

И все же Альдонна с Розой меня нашли. По всей видимости, выследили меня. Только закинул я свою «снасть», как они появились на берегу реки.

— Научи нас рыбу ловить! — крикнули они мне сверху.

— Слезайте. Ты, Роза-заноза, сними туфли, промочишь. Алтуни пусть рыбу пугает.

Я взял творожный мешочек и установил его против течения. Бидон мы наполнили быстро. И тут мною овладело какое-то ухарство: я опрокинул бидон в рубашку, завязанную у ворота, и наловил еще один, потом еще один. А затем покровительственно произнес:

— Ну, мухоморы, пошли домой.

Я нес через плечо рубашку с рыбой, а в руках сумку. Девочки несли напереманку бидон.

Дойдя до нашего огорода, организовали дележ.

— Мне не надо, — отказалась Роза.

— Почему?

— Папа может и в магазине купить. И не такую мелкую.

У Розы не было никаких задних мыслей, а я обиделся. Мне показалось, что это не только неуважение к моему труду, но и ко мне. Я вlepил ей пощечину. Она не заплакала, а лишь на какое-то мгновение укоризненно взглянула на меня своими голубыми глазами, из них скатились две крупные слезинки.

— Дикарь! Некультурный! Дурак! Не умеешь обращаться с девочками! — одним духом и на чистом русском языке выпалила Роза.

— Я тебе покажу «дурак!» — взвился я, но ударить больше не посмел. Зато отдал почти всю рыбу Альдонне. Та не заставила себя упрашивать, взяла рыбу и была такова.

— А ты к нам больше не смей приходить! — угрожающе крикнул я Розе.

— И не приду, — гордо сказала Роза и, не вытирая слез, зашагала прочь.

Осенью отец заставил меня пойти в школу ФЗУ. И здесь, на мое счастье, я освоил профессию лепщика. Теперь я уже работал не с глиной, а с гипсом, который превращался в моих руках в замысловатые фигуры. На самые ответственные участки посылали меня как лучшего мастера. Из-за нехватки специалистов работал по две смены. Зарабатывал много.

В отпуск приехал в деревню. Тут всю кругят немые фильмы. Покупаю билеты и приглашаю девушек в кино. Однажды вместе с подругами пришла Роза. Не знаю, то ли она не могла простить мне пощечины, то ли по простоте душевной, но только сказала:

— Я не нищая, чтобы за твой счет кино смотреть.

Скажите, пожалуйста, учится в девятом классе, а строит из себя невесть кого! Что ж, мы тоже не станем кланяться. А Альдонна, как только я переступил порог родного дома, от нас не вылезает, и в кино, разумеется, вместе со мной. Я ее угощаю конфетами в разноцветных бумажках, а однажды даже угостил красным вином, когда дома, кроме бабушки, никого не было. Альдонна выпила рюмку, сразу же опьянела и стала рассказывать, кто с кем дружит в деревне.

— А сама-то с кем ходишь?—с усмешкой произнес я.

— Я? Ни с кем... Я начала в восьмой класс ходить. Отец заставляет учиться.

— Значит, хочешь стать «прохвессором»?—на манер своего отца подковырнул я.

— Нет, врачом.

— Что ж, давай учись, заболею — приду к тебе лечиться.

Кончился отпуск. И я вновь в Москве.

Перед самой войной отец ни с того ни с сего распродал все хозяйство и увез нас в Сибирь.

В свободное время я пробовал заняться скульптурой. Нравилось мне, что в моих руках из бесформенной массы гипс превращается в тончайшее изваяние. И, видимо, был у меня кое-какой талант — две скульптуры «Лепщик» и «Штукатур» были удостоены премий. В газетах были помещены фотокопии с них и комментарии под снимками. Не утерпел я, послал эти газеты Розе, однако весточки не дождался. Писал ей еще, ответа не было.

Война смешала все наши мечты и планы. Может, и вышел бы из меня и скульптор, и композитор, но

пришлось взять в руки оружие и встать на защиту Родины. Вскоре узнал о том, что отец погиб под Москвой, вслед за ним померла бабушка, не оправилась после тяжелой болезни и мать...

В отставку я вышел сорока пяти лет. Четверть жизни посвятил военной службе, пожалуй, можно и на отдых. Четыре года войны, в тридцать пять окончил военную академию, не заметил, как стариком стал...

Времени теперь у меня много; как только уйдет жена на работу, а сын в техникум, вспомню былое увлечение и бегом в больницу, за гипсом. Пытался вылепить свою знаменитую свирель, но ничего не получилось — глина нужна, а не гипс. Пошел за город искать ее. Однако у нас тут сплошь песок, а глины нет и в помине. Все тоскливей становится мне день ото дня — руки приложить не к чему. Днем и ночью, как наяву, вижу мою деревню. Да и шутка сказать — не был там около четверти века.

Промаялся я в таком состоянии недели три, не выдержал — собрался в путь.

Спустя двое суток прибыл на родную станцию. Все тут изменилось, выросло несколько двух- и трехэтажных зданий.

В деревню я направился не по прямой дороге, а по извилистой тропинке, которая вскоре вывела меня к изгибу Цивилия. словно на встречу с давним другом, бросился я напрямиком по высокой траве к родной реке.

Вот он, Цивиль, вобравший в себя тысячи ручейков, течет спокойно и величаво. Вода в нем прозрачна, как слеза. Сквозь нее видно, как мелькают по дну рыбешки. Вот блеснула на солнце стайка пескарей, за ней другая, третья... Мне жалко их пугать, и я, дождавшись, когда прсмелькнет последний пескарь, спускаюсь к воде. Пройдя несколько шагов вверх по течению, стал на колени попить. И тут я увидел глину как раз в том месте, где спускался к реке. словно боясь, что кто-то отнимет у меня это сокровище, я начал копать ее прямо руками, не чувствуя боли. Когда у меня в руках оказался ком с ребячью голову, я несколько успокоился, вымыл руки и срезал ветку ивы. Через три минуты уже можно было играть музыку моего детства. Из остатков вылепил еще несколько свирелей. Радуюсь, точно малый ребенок, я



любовно разложил их на солнце сушиться. С головы до ног вывозился в глине, но душа моя пела.

С собой в деревню я захватил самую звонкую глиняную свирель.

Наш дом стоял в конце улицы, почти на опушке леса. Я долго смотрел в ту сторону, но так и не обнаружил тех ветел, что так дороги были моему сердцу. А на месте нашего дома глядел четырьмя большими окнами на улицу новый дом. На крыше — антенна телевизора. Под стать дому и двор с крашеными русскими воротами, и сарай, крытый шифером. А за ними огород. Вишни состарились и стали вровень с ветлами. Как и тогда, возле огорода стоит скамейка. Не сдержался — слезы выступили на глазах. Сел на эту скамейку и закурил.

Вдруг заскрипела калитка, и из нее вышел мальчик в белоснежной рубашке. Он прошел мимо, не заметив меня, а потом пустился вприпрыжку. Потом вдруг обернулся, увидел меня и застыл на месте.

А я чуть не вскрикнул: передо мной стояла вылитая Роза, какая она была в детстве. Большие голубые глаза смотрят добродушно и пронизательно. Очевидно, мальчика испугал мой мундир, и он уже намеревался шмыгнуть в калитку.

— Подожди, малыш, — остановил я его. — Твою маму не Розой зовут?

— Роза Петровна, — ответил он с достоинством.

— А тебя как зовут?

— Славик.

— А что, мама твоя дома?

— Нет, она в саду, клубнику собирает. — И, не дожидаясь дальнейших расспросов, он исчез за калиткой.

Я же, очевидно, под впечатлением нахлынувших воспоминаний о детстве, машинально сунул в рот глиняную свирель и заиграл «Вниз по нашей улице». Правда, мелодия выговаривалась не так чисто, как в детстве, но слова песни так и пели внутри меня. Целиком отдавшись мелодии, я закрыл глаза. Кончил играть, разомкнул веки — рядом стоит Роза. Я не мог ошибиться — черты лица были те же.

Правда, сейчас это была статная красивая женщина. Стоим мы с Розой, лица у обоих точно кумач, ни я, ни она ни слова. Наконец Роза решительно подошла ко мне, протянула руку и, как в детстве, запела:

— Мик, Мик, Микиток!  
Утащила твой свисток  
Хромая собака...

И покраснела еще больше.

— Ну, здравствуй, Роза-занога!— выручил я ее.

Мы вошли в дом.

Спустя немного времени пришел ее муж, директор школы. Роза познакомила нас. Мефодий Петрович, не мешкая, вручил сыну хозяйственную сумку и послал в магазин. Пока Роза приготовила на стол, Славик уже вернулся с покупками. Я извлек из чемодана бутылку шампанского. Выпили мы в честь радостной встречи.

Мефодий Петрович много говорил о своей работе, жаловался, что директору сейчас очень трудно, даже после окончания учебного года не отдохнешь. Затем, сославшись на усталость, он прилег на диван и уснул. Славик умчался на улицу. А мы с Розой сидим, разговариваем.

— Слышала, что и ты семьей обзавелся,— говорит Роза.

— Да, сын уже учится в техникуме.

— Женился, конечно, по любви,— то ли спрашивает, то ли сама себя уверяет Роза.

Я отвечаю ей словами песни:

Для любимой есть любимый,  
Кто же счастлив без любви?..

По лицу Розы пробежала тень грусти, а я, решив, что это от моих глупых слов, поспешил исправить свою ошибку:

-- Та, которую я любил всем сердцем, не захотела даже взглянуть в мою сторону, не ответила ни на одно письмо. А я вот смотрю на нее сейчас, и сердце мое переполнено тем же чувством, каким горело в семнадцать лет.

Роза посмотрела на меня пристально, и взгляд ее был полон тоски и нежности. Слезы стояли в ее ласковых глазах, повисали на длинных ресницах.

— Эх, Мик, Мик, и ничего-то ты не понимал и сейчас не понимаешь... Да знаешь ли ты, что я по твоей милости чуть не осталась старой девой? А Альдонна и сейчас одна живет, тебя любит. Профессор она, в Казан-

ском медицинском институте работает. Эх, Мик, Мик! Знал бы ты, как она тебя чисто любила, как ждала, собирала вырезки из журналов с твоими статьями. Да о такой любви, скажу я тебе...— Роза, не в силах более сдерживать себя, разрыдалась. Пытаясь утешить ее, я нес бог знает какую чепуху и все повторял:

— Не знал я, Роза, о ее любви...

— А я не знала о твоей...

На дворе уже сгустились сумерки. В доме стало душно. Я встал и распахнул окно, выходящее во двор. Да, так и есть, собирается гроза. А вот уже и молния, за ней—протяжный раскатистый пром. В окнах задрожали стекла. Розу я не видел, но слышал ее вздохи. Закрыв окно, я присел рядом с ней. Потом взял чемодан и зашагал к родным.

Лил дождь. словно природа оплакивала вместе со мной что-то неповторимое.

## ВЕСЕННИЙ ДОЖДЬ

### I

**В**асилий Викторович безучастно наблюдал сквозь хлещущий дождь мелькающее придорожье. По стеклу кабины неустанно бегают «дворник», слизывая дождевые капли. Тоскливо-скучную мелодию тянут шуршащие по асфальту колеса.

Брезент «газика» промок насквозь, провис над головой, а в одном месте уже протекает; падающие капли вынуждали Виктора Васильевича пересесть на заднее сиденье, но он не захотел тревожить шофера. Тем более, что после расхлябанных проселочных дорог тот весь предался скорости — по асфальту не часто приходится ездить.

Дождь льет вторую неделю. Правда, временами выглядывает солнце, разрываются в клочья сплошные черные облака. Но вот они кучно собираются в строй, и снова переходит в наступление на размытую полыми водами землю весенний обильный дождь. Довольны влагой зеленые озимые, но зато яровые еще и не легли в землю — сеять в такую грязь невозможно. Проклянулась в придорожных канавках молоденькая трава, и луга уже позеленели. Самое время сеять...

— Ну и льет, дьявол,— ворчит шофер. У него слово

«дьявол» очень емкое — оно выражает и восторг, и удовольствие. Так сказать, на все случаи жизни. И хотя ему нет еще и тридцати, он молчаливее любого старца. Видимо, сказалось одиночество лесника. Бывает, прое́дешь с ним целые сутки и не услышишь от него ни звука.

— Не говори,— поддержал его Василий Викторович, тяжело вздохнув. Потом вынул из кармана плаща пачку «Казбека», закурил, предложил шоферу. Некоторое время оба усердно дымят, наполняя кабину табачным дымом, затем Василий Викторович сокрушенно произносит:

— Завтра уже Первомай. В прошлом году в эту пору шесть тысяч гектаров засеяли...

— Н-да,— неожиданно разговорился молчаливый водитель.— Это все физики, дьяволы, испортили вселенную. Да еще эти американцы бомбы рвут под землей. Где уж тут устоять земле-матушке на своей оси,— с философским видом рассуждает он.

Ну, наговорил он сегодня, ни много ни мало, на целую неделю. Видимо, старается рассеять мрачное настроение начальника. И Василий Викторович в самом деле уже развеселился.

— Земля она, Григорий Иванович, как была на своей оси, так и остается. Просто год на год не приходится.

А небо, видимо, прохудилось и вправду, как брезент над головой. Капля дождя, ударившись о перекладинку дверцы, разлетелась в брызги. Угодило в папиросу. Ч-ш-ш!— недовольно зашипел огонь и превратился в сизый хвост дыма. Начальник управления открыл дверцу и выбросил папиросу. В кабину ворвался гул мотора, шуршанье шин.

День уже клонится к вечеру. Время захода, правда, еще не настало, но нависшие облака укоротили день намного. Когда добрались до райцентра, в окна домов уже засветились огни.

Василий Викторович спрыгнул у самого крыльца управления, вымыл сапоги и, оставляя за собой елочку следов, вошел в контору. Никого. Да и кто здесь может быть в такой час? Небось, все готовятся к празднику, а он чуть свет помчался в самый дальний колхоз и только сейчас возвращается. Даже сегодняшнюю почту не смотрел.

Достав из кармана ключ, он отпер дверь, зажжет свет, снял промокший и измятый плащ, привычно сел за свой

стол. Здесь лежит папка, оставленная для него секретарем.

Василий Викторович начал с писем. Вот поздравляют с праздником друзья, родные. Эти послания он пробегает быстро — все они похожи одно на другое: все желают здоровья, успехов. Да и сам он загодя отправил по этим адресам не менее двадцати таких же одинаковых писем. Что поделаешь, неловко в долгу оставаться.

Деловые бумаги он просматривал гораздо внимательнее и дольше. Вот письмо Министерства сельского хозяйства. Сообщают, что поступила в Канаш семенная кукуруза. А вот две жалобы переслала редакция газеты. Под одной нет имени — анонимка. И все же Василий Викторович внимательно прочел ее, некоторые места подчеркнул красным карандашом. Просмотрев оставшиеся бумаги, сложил их в папку, но вдруг оттуда выпала телеграмма. «Наверно, из министерства», — решил Василий Викторович. Развернул. Всего три слова: «Срочно приезжай Саша».

Все правильно, Саша. Такое может вытворять только он. Нет, чтобы, как все, шаблонненько поздравить с праздником, так он, видите ли, срочно приезжай. А зачем? В гости или, может, радость какая, или горе? Вот тут и гадай теперь...

С Сашей они подружились в сельхозинституте. Поступили оба сразу после школы, экзамены сдали хорошо. Василий был очень застенчив. А Саша полная ему противоположность — смелый, отчаянный парень. Ему ничего не стоило заговорить с девушкой, дружить с ней несколько месяцев, легко расстаться, завести дружбу с другой. Молодость — она, словно губка, впитывает все: и дурное, и хорошее. Требуются годы, чтобы критически оценить все сделанное. Тогда же Вася не только не осуждал Сашиных выходов, а, наоборот, завидовал ему, подражал. Благодаря ему, перестал стесняться, осмелился однажды выступить на собрании. А сейчас вот он особенно остро чувствует, как нужна эта решительность на посту начальника.

После окончания института их направили в один район, в соседние соревнующиеся колхозы. Оба проработали по три года. Затем — аспирантура.

— И что с ним стряслось? — вслух произнес Василий Викторович, разминая затекшие от длительного си-

дения ноги мерными шагами. А мысли снова вернулись к молодости...

В прошлом году приезжал к нему Саша. Жил три дня. Порадовались вместе, что Сашину диссертацию приняли к защите. А может, он сейчас и зовёт-то по этому поводу — диплом кандидата обмыть? Если да, то почему он сейчас в техникуме? Будь он кандидатом, давно бы направили в какой-нибудь институт.

Что ж, завтра праздник, пожалуй, Василий Викторович часа за два — за три и доедет к нему на машине. Надо бы шофера предупредить. Ну да ничего, успеет, если в шесть часов скажет.

Василий Викторович сунул телеграмму в карман, снял трубку и попросил соединить с секретарем райкома. Рассказал, как съездил в колхоз, какие привез новости, узнал сам, что произошло в его отсутствие, поздравил с праздником. И только потом осведомил о причине, по которой звонил:

— Телеграмму получил — товарищ тяжело заболел.

Как у него сорвалась с языка эта фраза — он и сам не понял, но сильно покраснел.

— Ну что ж, поезжай, — ответил секретарь райкома.

## II

Василий Викторович вышел из кабинета и, мешая сапогами весеннюю жижу, направился домой. Районный центр — посёлок с девятью тысячами населения — расположен в низменном месте. Это ощущается особенно весной — асфальтом пока покрыта только центральная улица.

Двенадцатиквартирный дом специалистов сельского хозяйства, в котором живет Василий Викторович, находится в добрых полчаса ходьбы. Дорога туда не асфальтирована, приходится месить эту кашу. Василий Викторович в такие минуты всякий раз упрекал себя, что не настоял — мог бы получить квартиру и поближе. Как-никак, не по своей же воле он сюда приехал — обком направил. После защиты диссертации в институте довелось всего лишь три месяца поработать. Вызвали в обком, разговор состоялся короткий. Государство сделало тебя человеком, так ты, будь добр, отплати ему добром сполна — иди туда, где больше принесешь пользы. Да... Живи он в городе, наверняка не лазил бы по

таким дорогам, а вышагивал бы по асфальту. Да и квартиру не сравнить с этой — водопровод, газ. А тут она ни городская, ни деревенская — так, серединка наполовинку.

Жена встретила его довольно холодно.

— И ходить-то ведь не умеешь, как путевые мужья, всю грязь собрал своими сапожищами. Люди с работы приходят домой вовремя, а ты раньше полуночи никогда еще не заявлялся.

Василий Викторович уже привык к упрекам жены; никак на них не отреагировав, он стал раздеваться. Пройдя в гостиную, сел на стул, вытянул усталые ноги на мягком ковре, положил на стол телеграмму.

— Читай,— обратился он к жене. Зина, быстро пробежав глазами строчку, вернула ему в руки бланк и резко сказала:

— И что ты нашел в этом болване?

— Почему ты его так называешь?

— Почему? А что ждать от мужчины, которому тридцать, а он еще ходит в холостых?

— Завтра в семь утра едем,— усмехнувшись, решительно произнес Василий Викторович.— Только вот с кем оставить Юрку?

— Никуда я не поеду и тебя не пущу. Завтра приезжает мама. Или ты ее не думаешь встретить?

Услышав эту новость, Василий Викторович вздрогнул. Не любит он свою тещу. Стоит ей переступить порог дома, как она начинает их поучать. Из ее суждений Василий Викторович уловил, что не такого бы зятя ей хотелось, уж больно любит деньгами сорить. Это ж подумать только: двести с лишним в месяц получать и держать ее дочку на казенной квартире! Да за такие деньги можно дом каменный построить, коров, свиней завести... Да и жене-то нисколько не помогает — каждый день приходит за полночь: то ли он на собрании, а может, и к чужим девкам или вдовам завернул.

— Ужинать-то будешь или сытый пришел?

Это не жена, это точь-в-точь теща. Что поделаешь, не прошел, видно, матриархат бесследно, оставил в сердце женщины глубокий след, вот и любят они покорять мужей, властвовать над ними. Ведь прекрасно знает Зина, о чем и о ком думал в этот момент Василий Викторович. И все-таки злословит. В другой раз просто отшутился бы, но сегодня жена его прямо-таки бесит.

Неужели она не может или не хочет понять, что Саша дорог ему, восемь лет жили вместе, делили каждый кусок хлеба, каждый рубль пополам?

— Будешь ты есть или нет? Или накормили? — ехидничает Зина.

Это она умеет — душу вынуть из человека, заладит одно и то же, словно капля за каплей капает, капает на одно место.

— Зина, как же ты не понимаешь? Если тебя позовет твоя подруга, неужели я откажусь?

— К Саше я не поеду, — твердо повторила Зина.

— А может, он заболел или еще какая беда случилась?

— Саша в беде? Да скорее свет клином сойдется, а он останется невредим. А тебя я, Вася, просто не понимаю: мама один раз в год приезжает за сто километров, ее ты не ждешь. Саша тебе дороже матери. Бездушный ты, Вася.

— Это еще как сказать, кто бездушнее. Я не могу простить себе одной оплошности: не зря старики говорят — задумал жениться, выбирай жену не глазами, а слушай ушами. Я же тебя выбрал глазами...

Василий Викторович не сдержался и высказал все это одним духом. Зина молча удалилась в смежную комнату. Василий Викторович знал, из нее не выжать теперь ни слова в течение двух суток — это срок, за который рассеивается Зинина обида.

Женился Василий Викторович как-то бездумно. Как только появился он в управлении, один товарищ спросил у него:

— Два месяца тебе хватит?

— Познакомиться с районом?

— Нет, жениться, — рассмеялся тот. — Да-да, я вполне серьезно. Будешь мотаться по колхозам, домой возвращаться ночью, поесть нечего — кто ж в этом должен помочь, как не жена?

Василий Викторович тогда принял все это за шутку. Но, поездив по району, возвращаясь в холостяцкую квартиру по ночам, все острее стал чувствовать необходимость в человеке, который скрашивал бы его одинокие часы. Как-то познакомился с Зиной. Пригласил в кино. А через два месяца у них состоялось что-то вроде свадьбы, и начальник управления ввел в новую квартиру молодую красивую жену.



Вот так нашел он себе жену... Василий Викторович выпил стакан остывшего чая и лег на диван. Но сон не шел, и Василий Викторович, тяжело вздыхая, ворочался с боку на бок. Обида на жену, а главное — жизнь района вытеснили все другие мысли. Того не хватает, этого недостает. Многого еще нет. Нет опытных специалистов. Тех, кто был, Василий Викторович еще в начале своей деятельности разослал по колхозам — все от них там больше проку, нежели они будут шуршать в управлении бумагами. Ничего, неплохо устроились, работают. А главного агронома председателем пришлось направить в колхоз «Заря». А что, если пригласить на его место Сашу? Согласится или нет? А здорово было бы: ведь главный агроном — первый помощник начальника, правая рука.

И Василий Викторович решил: согласится Зина или нет, он поедет к Саше и постарается уговорить его сменить место работы.

### III

Василий Викторович не заметил, как заснул.

Ночью несколько раз просыпался от шума дождя. Его мучили кошмары.

Как будто заболел Саша, и ему делает операцию старый очкастый хирург. Перепуганные сестры суетятся возле стола...

Поднялся он очень рано. Зина еще спала. И Юрка тоже сегодня отличился, в другие дни вскакивает вместе с отцом.

Дождь перестал. Редкие облака низко плывут на восток.

На окраине поселка вся опушка леса подернута туманом. Кажется, что там разложены костры, дым от которых повис на ветвях.

Василий Викторович развел примус, поставил разогревать котлеты и поспешил умыться. Достал из шифоньера черную пару, белую нейлоновую рубашку, но, подумав, что в дороге немудрено и застрять, повесил брюки обратно, надел галифе и сапоги. Потом вошел в спальню, чтобы разбудить Зину. Но та уже проснулась.

— Собирайся, поедем.

— Я тебе сказала свое слово вечером.— Укрывшись головой одеялом, она отвернулась к стенке.

Василий Викторович не стал ее уговаривать. По-

завтракав, накинул плащ и вышел на улицу. По дороге зашел к шоферу, попросил, чтобы встретил тещу, потом оформил путевку, наполнил бак бензином, проверил ав-тол, колеса. Все в порядке, но на всякий случай бросил в багажник запасное колесо. Дорога не близкая, всякое может случиться.

За поселком машина выкатилась на асфальт, еще не просохший после дождливой ночи. На дороге нет ни одной колеи. Василий Викторович сегодня первым открывает движение.

Остановился он только у Нуроса — посадил двоих до Чебоксар. Благополучно миновав невысокий пригорок, ГАЗ-69 резво выкатился на магистраль. Пассажиры попросили высадить их в Кугесях и предложили Василию Викторовичу деньги, приняв, очевидно, его за шофера. Когда же тот отказался от денег, поблагодарили и, несколько удивленные, сошли с подножки.

Квартиру Саши Василий Викторович нашел быстро, хотя он был здесь всего один раз еще студентом. Домик и сейчас ничуть не изменился и прячется на небольшой усаженной деревьями улочке. Крыша и ворота уже по-зеленели от древности, но хозяин, видимо, и не думает их заменять. В саду те же яблони, только они вроде стали еще раскидистее. Помнит Василий Викторович, как они с Сашей устраивали в этом саду гамак из старой кровати и спали.

Затормозив у самых ворот, Василий Викторович вышел из машины и направился во двор.

Звякнула щеколда, и на крыльце появилась мать Саши. Василия Викторовича она узнала сразу. Поставила пустое ведро на пол, поздоровалась.

— Как хорошо, что ты приехал, Вася, как хорошо-то... Сашук тебя уж вторые сутки ждет-не дождется. А сегодня думали, если и приедешь, так не раньше вечера. Ну, как живешь-то, сынок? Все ли живы-здоровы дома-то?

— Все хорошо, тетя Анись.

— А ты, никак, один приехал?

— Один! Где же Саша, здоров или болен?— уклонился от дальнейших расспросов Василий Викторович.

— Здоров, здоров...— Старушка остановилась на полуслове и опустила глаза.

— Где же он, дома?

— Дома, спит. К утру только задремал...

— Что-нибудь случилось?

— Случилось... Сноху мы в дом принять надумали... Не знаю уж, какая она, не видела я ее. Да он сам тебе расскажет, заходи... А я за водой спущусь к колонке... Иди, иди, буди его.— Старушка засеменила по тропинке.

Снаружи домик ничуть не изменился, но внутри... На полу — большой ковер, на стенах приятный голубой колер, потолок снежной белизны. Посреди комнаты — круглый дубовый стол, покрытый туго накрахмаленной скатертью. На нем расставлены бутылки, закуска. В двух углах по тумбочке, на одной — радиолоа, на другой — телевизор. Удачно разместились книжный шкаф, шифоньер, диван-кровать...

Саша спит в передней комнате. Он лежит на спине, по-детски раскинув руки. Слегка вьющиеся черные волосы спутаны. Все он всегда казался похожим на туркмена. Смуглокожий, с большими черными глазами, он вызывал симпатию у девушек, когда учился в аспирантуре, не зря они окрестили его «диким красавцем». В самом деле, в лице его есть какая-то необычная красота.

Василий Викторович поначалу стал тихонько насвистывать, а потом запел во весь голос:

Друг всегда уступить готов

Место в шлюпке и круг..

Саша открыл глаза, радостный, вскочил с постели и, стиснув Васю в объятьях, закружил по комнате.

— Я знал, что ты приедешь, черт этакий! Хоть и начальник ты, а все ж не забыл скромного техникумовского учителя, — балагурил он, продолжая тискать Василия Викторовича.

— Ну, ну, хватит, дьявол, — говорил тот на манер своего шофера, высвобождаясь из крепких рук товарища.

— Ты что ж, друг сердечный, не мог толковее телеграфировать? Я уж решил, что ты при смерти, а ты вон какой бугай. Ну, скажи хоть, по каким делам звал меня?

Саша, утираясь на ходу полотенцем, подошел к столу.

— А ты не торопи, сядь лучше. Почему, говоришь, звал? Соскучился. Ведь восемь месяцев не виделись.

— И только поэтому?

— Не только. Да ты сядь, сядь. Сегодня этот человек женится, — ткнул себя пальцем в грудь Саша. — Решил поставить точку в холостяцкой жизни.

— А где же та, которую ты решил осчастливить?

— Ты ее чуть-чуть опередил — она подъедет в пять ноль-ноль, — взглянув на часы, ответил Саша.

— Откуда подъедет? Уж не из космоса ли? Раньше, бывало, за девушками женихи ездили...

В это время Сашина мать поставила на стол дымящуюся глазунью, Саша наполнил рюмки. После обеда покурили и продолжили начатый разговор. Первым заговорил, философствуя, Саша.

...В повседневной жизни все парни одинаковы, точно солдатские шинели. Есть любовь, нет ли ее — нам необходима женщина, чтобы развлечь и утешить нас. И в то же время мы разглагольствуем о каких-то идеалах, о высоких материях, хотя наши поступки зачастую идут в разрез с идеями. Может, я ошибаюсь, подгоняя всех людей под одну мерку и сравнивая их с солдатскими шинелями. Но вот пример: ты знаешь, хоть я и не красавец, девушки увлекались мною. Но в сравнении с другими ветрениками, я выглядел более положительно — никогда не упивался этими мнимыми победами. Девушка тебе откроет душу, ждет от тебя того же, верит, а мы эту веру возьмем да и оплюем. Бывает так? Бывает. И это самый большой порок нашей мужской половины. А ведь человеку надо высказаться — один может, правда, сдерживать себя, другой — нет. Я тоже не скрывал прежних увлечений, ты сам прекрасно знаешь, но в последнем моем романе я не мог признаться никому. Ты первый узнал об этом.

Ты, кончив диссертацию, сдал ее руководителю и уехал домой. А у меня дело не клеилось, и я решил остаться в Ленинграде. Правда, я мог бы вступить в сделку со своей совестью в угоду некоторым величинам — и диссертация была бы готова, то есть надо было вместе со всеми ругнуть Вильямса. А ведь, по-честному, мы и выучились-то благодаря ему, а тут вдруг его, что говорится, с грязью смешали. Ты тоже был на моей стороне и, уезжая, успокоил меня, что я на верном пути и не должен с него сворачивать. И я понял: неудача с диссертацией — это явление временное, преходящее, а истина когда-нибудь да займет свое место.

Так я и остался. А что делать? Конечно, откажись я

от своей точки зрения — и диссертация была бы принята, и сам я уже был бы ученым мужем. Но не могу я пойти наперекор совести — и все тут. Уговаривали меня взяться за другую тему, мол, все равно ты плетью обуха не перешибешь. И вправду, была у меня мысль взять другую тему, а лучше — бросить все к черту и уехать. Да и руководитель мной недоволен — гляжу и читаю в его глазах: эх и упрямец же ты, друг мой, не оправдал ты моих надежд ни на грамм. Хотя знает сам, что прав я всецело, а не может набраться духу и выступить со мной заодно. Ну и ладно, думаю, чего человеку нервы портить своим видом. Собрал чемодан, сижу...

Ты помнишь, рядом с нами жили биологи. Одного, как и тебя, звали Васей, у него еще смолоду виски были белые, с Полтавы он был, украинец, а другой — Ленья, из Ульяновской области. Его отец работал в нашем районе военкомом, тут Ленька и научился говорить по-чувашски. Вот они и зашли ко мне после защиты попрощаться. Вечер у них сегодня. Сияют, что начищенное зеркало, счастливые. Оказывается, про мою неудачу они знают и потому еще усерднее приглашают меня, стараются успокоить. Я не стал отнекиваться — такая во мне пустота, равнодушие ко всему, что мне все равно, куда идти, с кем идти.

Собрались мы в кафе «Буратино». Некоторые пришли с женами, с подругами. По традиции произнесли тост: «Наука, покорись!» Выпил, но не чувствую никакого хмеля. А оркестр зазывает в круг, пары кружатся... Что ж, танцевать так танцевать. Но с кем? Смотрю по сторонам, замечаю одиноко сидящую девушку. Подхожу, приглашаю на танец. С виду ей двадцать пять, не больше, среднего роста, узкоплечая. А лицо — белое, будто годами она не видела солнечного света. И странно — ни ресницы, ни брови не подкрашены. Познакомилась по ходу танца — ее зовут Оксана. У нас ее называли бы Уксине, по-чувашски. Пытаюсь украдкой рассмотреть ее получше. Красива, но не так, чтоб можно было влюбиться. Я, к примеру, если бы стал искать себе девушку, на нее бы и не взглянул, пожалуй. Ведь для нас в молодости важна именно красота, мы признаем только этот паспорт. А тридцатилетний холостяк даже замечает в девушке все недостатки. Исходя из этих критериев, Оксану я оценил как «средненькую».

И все-таки на следующий танец я пригласил ее за-

ранее. Надо же в конце концов как-то проводить время. Однако мое приглашение повисло в воздухе — объявили «твист», в котором я не был искушен. Подошел к Оксане; извинился, освободил от обещания

— Садитесь,— предложила она.— Я ведь тоже не танцую «твиста».— А потом, лукаво прищурившись, продекламировала: «Мы с тобой не танцевали твиста, если выпивали — грамм по триста». Хотите выпить? Пожалуйста...

А кафе гудит, точно улей, звуки джаза оглушили и сидящих, и танцующих, и самих музыкантов.

— Счастливы,— кивнула Оксана на танцующих.— Разъедутся во все концы, в разные институты. А мне здесь оставаться.— Достала из лежавшей на столе пачки сигарету с фильтром, закурила, жадно затянулась несколько раз подряд.

— А где же вы тут остаетесь?— спросил я скорее не из любопытства, а чтобы отогнать свои невеселые мысли.

— В университете,— недовольно ответила девушка.— «Тут я родился, тут мне и жить».

— А живете с родителями?— поинтересовался я.

— Отца я не помню. Он погиб в первые дни войны. А мать... схоронили две недели назад. Всю блокаду она перенесла в Ленинграде.

Я заметил, как по ее щеке скатилась слеза. И черт дернул меня бередить ей душу своими расспросами!

Друзья позвали меня к столу.

— Монашенку откопал?— подковырнул меня Вася.

— А что, не красавица, но зато умна,— подхватил Леня.— Говорит по-английски, по-немецки. Она столько книг прочитала, что я пищи, пожалуй, меньше проглотил.

— Парень у нее есть?— поддразнил я друзей.

— Будет, когда в Ленинграде хорошенькие девушки переведутся,— сострил Вася, а я отметил про себя, что вот вновь мне предстоит одна из легких побед на любовном фронте.

Кафе закрывалось в двенадцать, но мы засиделись. В Ленинграде стояли белые ночи. Небо ясное, как днем, а все на земле залито голубым светом. Кажется, уже светает, но до рассвета еще далеко. Да, хороши белые ночи в Ленинграде... Они заставляют думать о чем-то возвышенном, хочется раскрыть кому-то всю свою душу. И вот я поведал Оксане о моих несчастьях с диссертаци-

цией. Немногословная девушка оказалась человеком большой и доброй души, даже вызвалась прочитать мою диссертацию.

Я проводил ее до дому — она жила на улице Некрасова.

— Как же ты доберешься обратно? — обеспокоенно спросила она. — Мосты уже развели, такси не ходят. Переночуй у нас, а утром домой...

На какой-то миг я расценил предложение Оксаны как легкомысленный поступок, в голову полезли пошлые мысли, хотя я был совершенно трезв.

Поднялись на четвертый этаж. Оксана достала из сумки ключ, отперла дверь. В небольшой комнате были расставлены вышедший из моды круглый стол, шифоньер, деревянная кровать, диван. На стенах развешаны какие-то карты. Решив, что это полотна какого-либо абстракциониста, пытаюсь рассмотреть, что же на них изображено.

— Простите, но я не пойму, что здесь нарисовано?

— Клетки головного мозга, — ответила Оксана.

Разговорились. Оказывается, Оксана училась у знаменитого профессора Васильева, выпустила две книги. Она увлеченно стала рассказывать мне о строении мозга, об опытах телепатии. Поставила чай. Уже скоро рассвет, а я, как по заученной анкете, задаю один вопрос за другим.

— На сегодня хватит, — неожиданно прерывает меня Оксана. — Ложитесь на кровать, а я устроюсь на диване.

«Вот тебе и легкий роман», — думаю я, тщетно пытаюсь уснуть. Хочу заговорить, но почему-то робею. Мучаюсь, считаю до тысячи, читаю про себя пришедшие на память стихи — напрасно. Наконец засыпаю — и просыпаюсь перед самым обедом. Открываю глаза — Оксана сидит, облокотившись о стол, и смотрит на меня.

— Прости, разбудила тебя.

— Я сам проснулся.

— Нет, это я разбудила тебя. Вставай, будем обедать.

В телепатию я не верю, но тут, пожалуй, действительно что-то похожее на нее. А может, просто Оксана пробует свои силы, тоже не очень веря в эту науку.

Мы стали друзьями.

У меня в резерве оставалось еще три месяца. И тут я

надумал переделать мою диссертацию. Днем корпел над ней, вечером спешил к Оксане. Оксана не знала, что я переделываю диссертацию. Об этом я сказал ей перед окончанием. Сказал и сам не рад. Видел бы ты ее лицо в этот момент!

— Какой же ты ученый, если свои мысли в угоду влиятельным лицам предаешь? Как ты можешь быть таким двуликим?— возмущалась Оксана.

Я рассердился не на шутку. Ей-то что? Она ученый, а я, стало быть, так себе? Уехал к другу в Репино, надеясь забыться в вине. Но разве можно убежать от своих мыслей? Вернулся в Ленинград на третий день. К Оксане, по правде говоря, вовсе не хотелось идти, хотя думал о ней часто. А ведь сказала она сущую правду обо мне, но я все равно обиделся. За диссертацию с того дня я не брался, так и осталась незавершенной.

А тут истек срок учебы в аспирантуре. Опять уложил чемодан, отправил по почте книги, рукописи, готов к отъезду. Но, не повидавшись с Оксаной, никак не могу решиться уехать. Позвонил ей на кафедру.

— Не изволите ли вы прийти к нам на прощальный вечер?

— Какой вечер, почему прощальный?— удивилась Оксана.

— Проживающий по улице Шевченко в аспирантском общежитии Саша, родом из Чувашии, отъезжают в свою республику. Билет они уже купили, поезд отбывает завтра в одиннадцать...

Оксана долго не отвечала, затем спросила номер комнаты.

Друзья уже разъехались, так что больше гостей у меня и не было. Правда, я пригласил Колю Хурамалова с женой, ты знаешь его, он из Чебоксар, живет в Ленинграде. Однако вечер получился не очень веселый. Все, видимо, понимали мое состояние. А Коля будто сговорился с Оксаной: не криви душой, прояви силу воли. И Галя, его жена, желает мне успехов.

Посидели часа три, стали расходиться. Я пошел проводить Оксану. Дошли до двери, я обнял и поцеловал ее.

...Коля к поезду не сумел прийти. Затолкав чемоданы в вагон, я вышел на перрон. И вдруг вижу Оксану. У нее была лекция, и я никак не ожидал, что она придет. В наспех накинутаю на голову шарфике, в плаще



«болонья», она подошла и даже не поздоровалась. Смотрит, а у самой глаза влажнеют; хочет что-то сказать, а губы дрожат, вот-вот заплачет. Она достала из сумки сверток, подала мне и, не говоря ни слова, быстро зашагала прочь. А я стою и слушаю, как стучат ее каблуки, как шуршат полы плаща. Стою, как обалделый, среди кишашей толпы и чувствую себя обворованным. Даже в голову не пришло броситься и догнать девушку.

Так мы расстались с Оксаной...

#### IV

Саша некоторое время сидит молча, закуривает. — Ну, а дальше что? — спрашивает Вася.

— Приехал домой, — продолжает Саша, — развернул сверток, что дала Оксана. Что ты думаешь? Там утка... Да, игрушечная утка. Вот она, — сказал Саша, вынося из соседней комнатки стеклянную утку. Внутри она набита ватой. Перед ней стоит маленькая алюминиевая чашечка с водой. Опустит она раза три клюв в воду — и выпрямится, потом снова льет воду. Секрет простой: намочнет вата — и голова откинется назад.

— Написала тогда Оксана всего четыре слова: «Каждый день пои утку». Вскоре я устроился в техникум. Правда, была возможность поехать в любой институт, но не захотелось. Да и мать старая, ей надо помочь. Так что остался дома. Оксане чуть ли не каждый день пишу письма. Дни и ночи без нее стали длиннее. Одним словом, скучаю страшно. Она мне тоже отвечает с радостью. В письмах мы излили все, что не могли выразить друг другу словами. Оксана мне присылает все необходимые препараты, книги. А я каждый день наливаю утке воды и вспоминаю Оксану.

Настала весна. «Тоска по любви особенно сильна весной», — заметил один писатель. Правда, у меня есть любовь, но в письмах, наверно, не выразишь всего, будь хоть самым талантливым писмотворцем...

В техникуме мы подружились с одной преподавательницей, Олей. Красивая девушка, ничего не скажешь. Незаметно она вытеснила из моей головы Оксану. Я стал реже писать в Ленинград, а про утку вообще забыл. Высохла она без воды и сидит неподвижно. И не только красотой пленила меня Оля — она только что окончила институт, и всего ей было 22 года. Да и ее

чувство ко мне, казалось, было настоящим. Кончился учебный год, и мы даже договорились о примерных сроках свадьбы.

Жизнь словно бы пошла в гору. Преподаю я вроде неплохо, студенты довольны, уважают меня. Но тут я заболел. Меня положили в больницу.

Пролежал неделю — вдруг вызывают в кабинет хирурга: оказывается, меня разыскивает Ленинград. Думаю, с кафедры, наверно, звонят или, может, на защиту приглашают? Звонила Оксана... Справляется о моем здоровье, интересуется, как диссертация. Приглашает приехать во время отпуска в Ленинград. Телефонистка предупредила о времени, а Оксана говорила еще десять минут. Очень сокрушалась она, что я в больнице. Я успокоил, что болезнь моя не столь уж опасна.

Выписался из больницы, а дома меня ждала посылка от Оксаны. Словно малого ребенка баловала меня Оксана: прислала лимонов, апельсинов, бутылку армянского коньяка. Очень тронуло меня ее внимание, и я, вспомнив про утку, налил ей полное блюдо воды.

В те дни я не находил себе места. Хожу, слоняюсь из угла в угол, а перед глазами то Оксана, то Ольга. Да, погнался я за двумя зайцами. И все же та, что каждый день попадается мне на глаза, кажется мне милее, ближе.

А весна берет свое. Яблони стоят, словно невесты в подвенечном наряде. После занятий мы идем с Олей либо в парк, либо в лес. Бродим, дышим весенним ароматом до самого вечера. Однажды Оля пригласила меня к себе на квартиру. Чтобы убить время, дала мне в руки толстый альбом, сама села рядом. Перелистываем страницы. На первой — фотография Оли, потом с классом, с подружками... А вот Оля с каким-то черноглазым парнем.

— Это Валерий, — пояснила Оля.

Он с самого детства влюблен в Олю и до сих пор не женат. На следующей странице опять парень. Это Павел. И тоже ждет от Оли слова. А дальше институтские кавалеры. О каждом из них Оля вспоминает с некоторой усмешкой, а порой и с грустью. На обратной стороне этих фотографий — дарственные надписи. Довольно-таки банальные. Обычно такие стишки пишут друг другу в альбомы только что начинающие влюбляться молодые люди. «Дарю сердечно — помни вечно». Смеш-

но. Или вот еще: «Пусть это фото говорит тебе о моей любви». И дальше в том же духе. А Оля все вспоминает и вспоминает.

— Знал бы ты, как умел пожимать руку этот Валерий... А Павел — очень красивый, глаза так и горят...

— Красивая ты, Оля, словно цветок красивая, потому у тебя и поклонников много, — заметил я.

Моя похвала еще больше окрылила Олю. А я на минуту представил себя идущим с ней рядом и в каждом встречном парне увидел ее поклонника. И невольно в душе у меня зародилось какое-то тяжелое чувство — смесь ревности, ненависти и еще чего-то.

Не знаю, может, мои мысли тебе покажутся старомодными, но я больше не мог оставаться в этой квартире. Попрощался с Олей и ушел. Не успел прийти домой — налил утке воды.

Потом, мне кажется, и Оля поняла свою ошибку, потому что при встрече со мной каждый раз заливалась краской. Наши отношения заметили в учительской. Некоторые даже косились на меня, но большинство поняло правильно. Да не так уж и страшно, что кто-то на тебя смотрит исподлобья, если сам знаешь, что ни в чем не виноват, можно жить спокойно. Но сплетни расплозились одна грязнее другой. Уж и распутник я, уж и Оля от меня беременна, и то и другое. Есть еще, к сожалению, такие злые языки. Они готовы малейшую оплошность выдать за великий грех. Вот такие-то людишки и марают анонимки, а чтобы не признали их почерка, заставляют писать эту грязь своих детей. Яблоко от яблони, как известно, недалеко падает, и вырастает новый кляузник. Из-за такой анонимки мне довелось трижды иметь разговор с партийным начальством. Хорошо, что Оля оказалась порядочной. Я очень был ей благодарен, но чувство мое к ней уже не возродилось.

Написал Оксане. Ответа не было. Звонил на квартиру — телефон молчит. Связался с университетом. Оказывается, болеет, лежит в больнице, а в какой — не смог узнать. Да и ехать-то было никак нельзя — начались экзамены. Устав от бесплодных поисков, больше не стал ни писать, ни звонить. А может, думаю, Оксана и замуж вышла. Словом, погрузился в науку — переделывал, дописывал диссертацию, ставил опыты на участке. Чувствую, все идет успешно, все по-моему. В работе позабыл и про любовные неувязки, и про сплетни.

И вдруг письмо от Оксаны. Пишет, что долго болела. А от письма так и веет холодом. Защемило мне сердце. Оформил отпуск и — в Ленинград. Из Москвы дал Коле телеграмму, мол, встречай, приеду. Выхожу утром из вагона — у ступенек вагона стоит Оксана.

— Как ты узнала, что я приеду?— спрашиваю и растерянно пожимаю ей руку.

— Телепатия,— загадочно улыбается Оксана.

Какая это была телепатия, я узнал потом: Колина жена, которая давно разгадала наши чувства, сообщила Оксане о телеграмме.

Оксана сильно изменилась. Лицо еще больше побелело. Смотрю на нее и не понимаю: рада она моему приезду или нет? Правда, говорит она по-прежнему душевно.

Сели в такси, приехали к Оксане. Та же комната, тот же увеличенный головной мозг на одной стене. Только на месте радиоприемника стоит новенький телевизор, да от книжного шкафа стало еще теснее в комнате.

Умывшись, я вошел в кухню, где хлопотала Оксана. Стол накрыт по-праздничному, на нем коньяк какой-то заграничной марки. Наполнили рюмки, чокнулись. Оксана поставила рюмку.

— Я не пью,— сказала она.

— С каких это пор?

— С тех пор, как проводила тебя.

Я выпил и закурил, предложив сигарету Оксане.

— Не курю,— тем же тоном произнесла Оксана.

— С каких пор?

— С тех пор, как проводила тебя.

Подумать только: проводила меня и бросила выпивать и курить! И тут мне почему-то вспомнился холодок ее последнего письма.

— Что ж, от радости бросила пить и курить?— пошутил я не к месту.

— Я влюбилась в тебя как семнадцатилетняя девочка, жила только тобой, твоими успехами и неудачами, а ты ничего этого не замечал. Заболел и даже не счел нужным известить меня об этом. Да ты, наверно, и не вспомнил ни разу обо мне? Конечно, нет!

И все-то она помнит.. Да, трудный у нас тогда произошел разговор, но искренний. Я даже раскаялся, что приехал к Оксане. Думал уже уйти раз и навсегда. Зем-

ля большая, девушек много... Но что-то меня удержало в тот миг. А Оксана разошлась, ругает меня, называет легкомысленным дон-жуаном.

— Я знала, что ты полюбил другую,— неожиданно говорит она.

Знала, не знала — мне теперь все равно. Наливаю стакан коньяка и опрокидываю залпом. Потом, сославшись на усталость, заваливаюсь спать. Утром просыпаюсь, Оксаны уже нет. На столе записка и ключ от квартиры. «Ушла в университет. Приду в 5 часов. Завтрак на столе. Займи себя, чем сумеешь».

Наскоро умывшись, я взял чемодан и направился к Коле. На мое счастье оказалась дома Галя.

Я поведал ей о нашей ссоре.

— Глупый ты, глупый,— стала укорять меня Галя.— Девчонка по нем сгорает, а он мучает ее своими капризами. Да знаешь ли ты, когда она в больнице лежала, ты у нее из головы не выходил? Я ходила к ней изредка, так она всякий раз спрашивала, как там Саша, молчит почему-то, не заболел ли. А перед твоей телеграммой вдруг сообщает мне: «Саша женился, взял другую». Я говорю, откуда ты узнала, а она: «Сердце чувствует». Она людские мысли на расстоянии узнает. Так ты что ж, в самом деле женился?

— Да,— отвечаю я.

— Ну и дурак,— вспыхнула Галя.— Как есть дурак! Таковую добрую душу обидел! Ничего, спохватишься когда-нибудь, да поздно будет.

А у меня внутри все ликует, однако одна мысль сверлит мозг: как могла узнать Оксана о моей дружбе с Олей?

Окрыленный, я ринулся в университет. Когда речь зашла о диссертации, один из профессоров заметил:

— Нашлись сторонники вашей точки зрения среди биологов. В частности, вас поддерживает Оксана Яковлевна..

В Ленинграде я пробыл две недели. С Оксаной мы помирились. Осенью несколько изменилась погода в стране, об этом ты сам хорошо знаешь, а в декабре я благополучно защитился,— закончил свою исповедь Саша.

— А направления тебе не дали?— спросил Василий Викторович.

— Давали, я сам не взял. Решил немного подождать.

— А в чем, собственно, дело? Я тебя уж решил взять к себе главным агрономом.

— Не могу я, Вася, обещать: ведь я теперь не один,— задумчиво произнес Саша, закурил и взглянул на часы.— Время собираться.

— Погоди, так кто же к тебе сегодня приезжает, я так и не понял?— съехидничал Василий Викторович.

— Оксана. Видишь, даже утка ее ждет.

И правда, сидит на столе игрушечная утка и откидывает голову — пьет воду.

— Ты ей вина налей, пусть немножко повеселится,— пошутил Василий Викторович.

Но Саша промолчал, поглощенный предстоящей встречей. Он достал из шифоньера костюм, оделся. Тут Василий Викторович не сдержался, съязвил еще раз:

— Так ты меня пригласил затем, чтобы я выслушал твой рассказ?

— Да нет же, нет, ты сам меня потянул за язык. Просто я предвидел, что начальник управления приедет на своей машине и мне не придется искать такси.

— Ах ты, хитрец,— засмеялся Василий Викторович.

## V

Когда мы собрались в дорогу, снова пошел дождь. Мать Саши дала нам свой плащ, мол, невестка-то, поди, легко одета, не простудилась бы. И сквозь слезы добавила:

— Говорят, кто под дождем едет, счастливый бывает... Ну, с богом, а то опоздаете еще к поезду.

Василий Викторович тронул машину. Саша сидел рядом и молчал, думал о чем-то своем.

Город остался позади. Когда выехали на шоссе, Василию Викторовичу вспомнились слова Сашиной матери: «Кто под дождем едет, тот счастливый бывает».

Перед глазами встал образ Зины, а вместе с ней и разные семейные неурядицы. На какой-то миг Василий Викторович даже позавидовал Саше, но, чтобы отогнать эти мысли, сказал:

— Льет и льет дождь, никак на сев не можем выехать.

И, шумно вздохнув, прибавил скорость.

— Эй, Парамун! Свояк! Разрази тебя гром! Ты что, не видишь, кто пришел? Твое здоровье, свояк дорогой! — разносятся в ночной тишине пьяноватые выкрики.

Заслышав их, поднимают лай деревенские собаки. Яркие освещенные окна общежития доярок распахиваются настежь. Испуганные ярким светом и шумом, прыгают в воду сидевшие на берегу лягушки.

— Чего тебе? — в ответ слышится у пруда недовольный голос. — Все пьешь и пьешь...

— Да разрази тебя гром! Выпил и буду пить. А почему, ты думаешь, я пью? Счастья нет у меня, не выпало его на мою долю. Четыре года война убила, три ордена мне дала. В деревне нет такого героя, как я. А кто я сейчас? И кто меня довел до этой точки? Ты убил меня, Парамун, ты — и никто больше...

— Хведер, напрасно ты на меня нападаешь. Нехорошо так. Любовь все это сделала...

— «Любовь!» — передразнивает Хведер. — А знаешь ли ты, что это такое — любовь? Тоже мне, нашелся артист! Полюбуйтесь-ка на него, он еще говорит о любви. Да что ты понимаешь в любви-то?

— А почему бы и нет? Ты понимаешь, а я, выходит, не могу?

— Да не лай ты, точно собака цепная. Враг ты мне, самый что ни на есть первый враг в деревне!

— Ну ладно, будь по-твоему.

— То-то и оно. Вынеси-ка стакан, угощу я тебя, врага заклятого...

— Не могу — служба.

— «Служба», — снова дразнит его Хведер, стараясь подражать его выговору. — Да не служба у тебя, а жизнь собачья. Людям праздники, а тебе все пятница. У людей семьи, дети есть, а у тебя что? Пролетарий ты, скажу я тебе, полный пролетарий. Это тебя призывают в газетах «соединяться». Вот и соединяйся. Ну, черт с тобой, хоть и враг ты мне, а напою я тебя.

— Нет, не буду я пить. Служба.

— Да что ты заладил: «служба, служба?» Да какая это служба — в карауле стоять? Эх, разрази тебя

гром,— снова выругался пьяный. Собаки, видимо, уже привыкли к нему и не лают. Сонная поверхность пруда утонула во мгле. Окна общежития захлопнулись и погасли.

— Кто это там?— спрашивают спросонья те, кто не отважился выглянуть в окно.

— Свойки встретились, кому же больше быть,—слезая с подоконника, недовольно отвечает наблюдавшая эту сцену доярка. А тетя Хведусь беззлобно поругивает его и другого:

— Оба хороши, и дядя Хведер, и тот, Парамун-то... Уж двадцать лет не могут чего-то поделить. Ну, что было—то было, так не всю же жизнь драться. Как есть, дураки. Связать обоих одной верёвкой да в пруд. И пусть плавают, доколь не встретятся со своей Санюк...

Девушки смеются под одеялами, не совсем веря словам тети Хведусь, ибо знают: давненько она вздыхает по сторожу Парамуну, ох давно! Тетя Хведусь краснеет, но виду не подаёт, поправляет на голове платок. Неожиданно она командует:

— Ну, девки, пора спать!

Через некоторое время гаснет свет и в последнем окне. Да, пора отдыхать, летняя ночь коротка, а завтра чуть свет вставать — коров доить, завтрак спготовить себе да еще сбегать накормить домашних. А кому хочется спорить — пускай спорят хоть всю ночь. Всякому свое. Мало ли что в мире творится, за всем все равно не уследишь. А потом спор этот между Хведером и Парамуном уже надоел всем, вся деревня об этом знает, ничего нового в нем нет.

Все спит. На небе мигают яркие звезды, словно зовут к себе. Над деревней повис Млечный путь, а на нем три разноцветные звездочки. Оказывается, это самолет, хотя его пока и не слышно. Густые облака, словно не выдерживая собственной тяжести, спустились к самой земле, заслонив и восход, и запад.

Из глубокого оврага, что на гороховом поле, донесся крик стрепета.

— Окаянный,— вздрагивает стоящий на берегу пруда Парамун.— И орет же, точно режут его.

В руках у сторожа железный посох толщиной с большой палец. Парамун разговаривает сам с собой и то и дело втыкает посох в землю. В воздухе стоит приятный запах дикой ромашки, напоминающий запах



моченых яблок. Видимо, ромашку задел посох Парамуна, а может, донесло ветром. Сторож вдыхает полной грудью запах несуществующих яблок и продолжает ворчать:

— Окаянный... И погода же стоит, спать грешно. Ан нет, спят ведь люди, спят и не видят такой красоты. Дураки...

Парамун живет бобылем, так что причин сокрушаться у него много. Но редко кто видел его растерянным или грустным. А может, у него уж и души-то нет давно? И чувства все притупились, и не умеет он ни горевать, ни радоваться, ни обижаться.

Закрото сердце караульщика, заперто наглухо. Да и с кем же может он поговорить по душам, когда все куда-то спешат, не замечая, как пролетает час, день, неделя, месяц, год... Живет себе Парамун, стучит в лемех, ферму сторожит — и ладно. Так и живет одним днем.

Вот и сегодня пришел Хведер — проводил его с миром. Пьяный, что с него возьмешь?

Раздумья Парамуна прервали собаки. Они залаяли с новой силой. Сторож приник ухом к воде — так слышнее, откуда доносятся шаги или топот. Оказывается, со стороны Хурамала едет повозка. Парамун пошел тропинкой навстречу. По скрипу колес он определил, что это возвращается заведующий фермой, ездивший в Тыхланкас за племенными баранами.

«Опять начнет придираться,— обреченно подумал Парамун.— Такой уж у нас заведующий...»

## II

Солнце еще не поднялось. Однако в том месте, где должно взойти, уже горит огненная шапка. И облака, которые ночью теснились над самой землей, поднялись высоко-высоко, расчистив дорогу солнцу. Искристые лучи уже задели их кромки, и вдруг показалось, что они вот-вот вопыхнут и задымятся. А луна, точно стесняясь своей бледноты, все тает и тает. Из звезд одна только Венера горит, словно электрическая лампочка. Над прудом висит легкая дымка тумана. Она уже оторвалась от воды, поднялась на метр—полтора, сейчас подует ветерок и унесет ее прочь. А вот и ветер. Туман разрывается на причудливые клочья, словно его разрывает кто-то невидимый.

Парамун наливает в таз обрат и зовет собак:  
— Стрелка! Стрелка!

Две собаки и обе Стрелки. Обоих он вырастил сам, а почему дал одинаковые клички — известно только Парамуну. Первая Стрелка черная, только у самых глаз два белых пятнышка. Такую собаку в народе называют четырехглазой и считают очень злой. И уши у нее торчком, а сама она не меньше средней овцы. Опытный глаз может приметить, что в ней есть примесь овчарки. Лает она редко, хрипловато-грубым голосом. Другая собака полная противоположность ей — с белой шеей, а сама рыжая и маленькая. Но лает куда звонче и на чужих бросается первой. А стоит подойти большой Стрелке, как она тут же удирает. И так всегда: маленькая начинает, большая заканчивает. Но кусать она не кусает — Парамун всегда надевает ей намордник. Некоторые ворчат, зачем, мол, Парамун собак держит. Но ферма большая, а летом мало ли что может случиться — овцы под открытым небом. Собака же учует и зверя, и нехорошего человека.

Поэтому Парамун не обращает внимания на людскую молву и кормит собак, словно на убой.

Вот и сейчас они враз подросли и через минуту дружно заработали языками, лакая налитое.

Теперь можно отдохнуть и хозяину. Скоро подойдут пастухи, доярки начали дойку.

Парамун направился к самому крайнему коровнику, взобрался на чердак. Коровник выходит фасадом к пруду, в противоположную от дороги сторону, и потому здесь сравнительно тихо. Парамун все лето спит здесь, даже не заходит в дом. Спит он прямо на сене, которое до того слежалось, что обрело отпечаток человеческого тела. В изголовье на гвозде стропил висит старая солдатская шинель. Она так износилась, что трудно определить, какого цвета была раньше. Ее и стелет Парамун под себя, укрывается тоже ею.

Как только поднимешься на чердак, в нос ударяет запах прелого сена. Но, спустя минуту, начинаешь различать и другие запахи. Вот анисовка, чебрец... Коричневый лист конского щавеля, точно ухо слона, лежит на сене. Он испещрен дырками — еще на корню его изъели черви. Стоит прикоснуться к нему — и он рассыплется, как пепел. А сырость идет от пруда.

Парамун разостлал одну полу шинели, другой

укрылся, дважды протяжно зевнул и через минуту мирно захрапел.

Проснулся он часа через три, а то и позже. Проснулся от солнечного лучика, что скользнул по его лицу сквозь щель в крыше, на стыке шиферных листов. Парамун сладко потянулся, повернулся на другой бок и снова попытался уснуть. Но утром сторож не может долго спать. Да и не дают: то позовет Иван Иванович, заведующий фермой, то еще что-нибудь случится.

Правда, сейчас его никто не тревожит. Иван Иванович в первые дни своего назначения не давал покоя Парамуну, а сейчас, видимо, пыл его поулег, на ферме он появляется все реже. Наверно, нет времени...

Сам не зная отчего, не любит этого человека Парамун. Не терпит его — и все тут. Ну, не ровесники они, так что же? Это не причина. Ивану Ивановичу лет тридцать. Пришел он в колхоз из Сявалжасов да так и не прижился. Хотя в сноровке и хозяйственности ему не откажешь. Ишь, во что старенькую тещину избенку превратил: на мох поставил, старые бревна все сменил, щели алебастром промазал. Стоит, как белокаменная.

Парамун был, правда, в этом доме всего один раз. Весной, когда картошку сажали. Он ходил за сохой, а Иван Иванович водил лошадь. Женщины бросали в борозду картошку. Ну и намаялся же в тот день Парамун! В конце огорода посажена люцерна — разворачивайся с сохой, как хочешь, но не смей топтать. И молодые яблони, обнесенные двухметровым забором, тоже не задень. А подальше, к сараям, — старый сад, тоже обнесенный в два или в три ряда решеткой. Парамун в тот день сам носил все семена в огород, вот и пришлось ему за мешками несколько раз в дом заглянуть. Чего только там нет! И зеркальный шкаф, и диван, и еще всякая мебель, названия которой Парамун не знал.

Супруга Ивана Ивановича — учительница. В огород она не вышла не только помочь, но и взглянуть. Кончив работу, Парамун запряг лошадь в телегу и вместе с доярками зашагал со двора. Хоть бы для приличия сказал им Иван Иванович, мол, зайдите, пообедайте. Нет... Да, может, и не зашли бы они в дом, не объели бы их — не голодный ведь год, но на душе было бы легко и хорошо. А и проголодаться-то не мудрено: полдня провозились. Парамуну ничего, он привык ко всему, а вот девочкам...

Слышал Парамун о скупости Ивана Ивановича и раньше, но пока еще сам с нею не сталкивался. Мало ли чего люди наговорят! А Парамуну что: работает круглый год, в карауле ночами стоит, молву людскую не слушает. Трудодней 365 или 366 в год получает на ферме, помимо этого помогает траву силосовать, солому в стога метать, веревки вить. Находится и еще какая-нибудь мелкая работенка. И не заметишь, как тебе припишут еще трудодней 40—50. Тут тебе и хлеб, и деньги. Платят неплохо. Колхоз не из отстающих. Хлеб Парамун продает, куда ему одному столько. Да еще в колхозном амбаре к выдаче 60 пудов приходится. А деньги ему сам председатель Семен Васильевич сразу на книжку переводит. Позовет Парамуна и скажет:

— Вот тебе, Парамон Петрович, на карманные расходы сто рублей, а триста рублей переводим тебе в сберкассу.

Спросят Парамуна, как ему живется, одинокому, а он ответит:

— А так вот и живем, обходимся сами: хлеба старого с избытком хватает до нового, пива — тоже, кончится в одной бочке, глядь, уж готова другая, сенокос встречаем с зимним мясом, на спас — барана режем. Может, и небогато, но сытно и тепло, мы народ не привередливый.

Парамун чувствует заботу председателя. До Семена Васильевича сторож ютился за печкой в общежитии, а сейчас у него своя комната с отдельным входом. Правда, нет в ней роскоши — стол, койка, три стула, но Парамуну хватает всего и даже для гостей: зимой, бывало, соберутся с пастухами и забивают «козла». В этом деле равного Парамуну нет: редко когда сумеют его обыграть.

А колхоз растет год от года. Вот уж и дома стали строить на городской лад. Один дом закончат уже в этом году. В нем-то председатель и обещает выделить сторожу квартиру. Что ж, даст — хорошо, не даст — тоже в обиде не будем...

— Парамон Петрович! — вдруг донесся снизу голос Ивана Ивановича. — Выспался или нет еще?

— Выспался...

— Ну, коль так, слезай, дело есть.

Парамун легко соскочил с чердака. Заведующий фермой растянулся на телеге с травой. Парамун идет

к нему, молча останавливается, ждет приказаний. Он не прочь бы еще подремать, но стесняется начальства. Да и привык он довольствоваться малым. Коричневые суконные шаровары на нем порядком измяты, лицо бороздят следы от сена и соломинок.

— Что ж это ты, Парамун,— медленно, с расстановкой, начал заведующий,— никак уж и ферму стеречь не способен? Ночью хулиганы пролили бидон сметаны в колодце. Что же это такое? Сторож ты или одно название?

— Быть этого не может,— не верит Парамун.— У колодца я за ночь побывал не один раз. И собаки со мной. Не мог это чужой человек сделать.

— А что собаки? И они разленились, как хозяин. Нет уже их, собак-то. Проводил я их.

— Кого? Собак?

— Ясно, собак, не тебя же. Ветеринар запрещает собак на ферме держать. Говорит, заразу разносят. Наверно, уже застрелили их.

— Кто? Кого застрелили?— недоумевают сторож.

— Кто ж стреляет обычно, Васька Волков, наверно.

— Нет, не может он застрелить Стрелок, не может,— бормочет растерянный Парамун, но в голосе его нет уверенности, губы дрожат, глаза моргают часто-часто.

А заведующий продолжает:

— Много у тебя грехов, Парамун, много. Неделью назад кто-то двери овчарни распахнул настежь, конюха зимой сено воруют, а ты спишь. Нет, видно, не получится из тебя сторож, думаю, уволить тебя надо.

Все это говорит Иван Иванович, не повышая голоса, точно с другом беседует.

А Парамун уже почувствовал недоброе. Да, не зря говорили люди, что злой этот человек, не зря не любят его на ферме. До него работал Михаил Игнатьевич. Тот, бывало, и прикрикнет, и отругает, но у него были и шутки, и душа. Да и гнев его быстро проходил. Э, да что тут говорить! Не зря пословица-то сложена: у мертвой коровы молоко, говорят, было хорошее... Этот не кричит, не ругается, но от него так и веет холодом, и слова полны желчи. Уж сколько людей ушло с фермы, как он начал ею заведовать.

— Коль увольняешь, уйду,— спокойно ответил сторож и, повернувшись, зашагал прочь, не зная, куда ему

теперь податься. Хотел взобраться снова на чердак, но какой же сейчас сон? От людей разве только спрятаться. В общежитие? А что там делать? Слушать, как будут доярки судачить о его увольнении?

— Парамун, постой,— окликает его Иван Иванович.

Сторож остановился, но на заведующего не оглянулся. Да ему и все равно теперь, кто куда его позовет.

— Ты вот что: на заседании правления не упрямясь, говори, что здоровье не позволяет работать сторожем. А я про твои грехи не скажу, и про сметану тоже.

Парамун молчит. Он хочет скорее уйти от этого человека, но его, словно цепями, кто-то приковал к нему. Эта цепь звенит в ушах, в сердце Парамуна. Уйти, уйти, скрыться подальше от него.

— Ладно,— произносит сторож глухо и идет дальше, быстро пересекает плотину, входит в комнату.

Но душа никак не успокоится, и сторож опять выходит на улицу.

— Эй, свояк, разрази тебя гром!— вдруг раздается над самым ухом голос Хведера.

«Ну вот, час от часу не легче. И откуда взялся этот черт как раз в такой момент?»

— Чего тебе?— сердито спрашивает Парамун.

— А ты не фырчи, как хомяк,— осаживает его плотник.— Аль заболел, белый больно?

— Тебе не все равно, заболел, не заболел...

— Как же все равно? Ты ведь не собака. Хоть и свояк ты мне, а все жалко.

— Жалко,— усмехается Парамун и, озираясь, быстро входит в дом.

Кто знает, может, в другой раз и поговорил бы он с этим пьянчужкой, но когда внутри у тебя все горит, тут, пожалуй, самое лучшее — уйти.

Парамун закрыл дверь и стал ходить из угла в угол, а то вдруг упадет пластом на койку и лежит. Какой тут сон, когда голова гудит, как пчелиный улей. Да еще этот Хведер. Заладил: свояк да свояк. А ведь если разобраться, и не виноват перед ним Парамун ни сколько. Неужели не поймет этого Хведер до сего дня?..

### III

Парамуну исполнилось тогда семнадцать.

Вместе со всеми косил колхозное поле, приходил до-

мой затемно, выпивал крынку уйрана\* и заваливался спать. Есть от усталости не хотелось. Но в одно утро проснулся — левая рука и нога словно чужие, ни согнуть, ни выпрямить. Точь-в-точь парализованные. Пробовал ущипнуть — не чувствуют. Повезли в больницу. Врачи определили паралич. Пролежал полгода. Нога пошла на поправку, а рука стала сохнуть.

Беда первой пришла к самому младшему в семье — к Парамуну. Всего их было пять сыновей, старшему — двадцать три. Все были погодки — мать рожала каждый год.

А зимой умер отец. Умер в одночасье: приехал с лесозаготовок, не успел поест, как живот схватило. Крутило, крутило его, а к утру он уже был готов.

За неделю до войны убило громом на колхозном току Петьку, только что вернувшегося из армии.

А потом не вернулись с войны оставшиеся два брата. Замужняя сестра пошла на фронт добровольно — врач она была — и тоже не вернулась.

Остался Парамун один-одишошенок. В солдаты его не взяли. Вот и пошел он тогда в сторожа. Куда он со своей рукой-то больше годен? Кто знает, может, и семьей, домом обзавелся бы человек, но не так, как надо, все у него сложилось...

Близилась осень. Это был самый тяжелый год войны. Пришла однажды на ферму жена Хведера Санюк. Хведер до войны работал бригадиром в леспромхозе. Зарабатывал много и незадолго до войны выстроил себе настоящий дворец, женился и ушел на фронт. В жены взял первую красавицу в деревне — Санюк.

Вот пришла она и просит Парамуна:

— Парамун, приди, ради Христа, наколи дров.

С дров все и началось. Потом двор починил, а Санюк находит все новую и новую работу. До того зарабатывался Парамун, что на караул стал опаздывать.

Для него это было первое, не испытанное доселе чувство, и он весь отдался ему. Вскоре пришла похоронная на Хведера. Санюк и Парамун стали жить как муж и жена.

А зимой вернулся раненный в ногу Хведер. Санюк, боясь, что муж не простит ей измены, убежала из деревни в Ивановскую область на торфоразработки. Хведер,

\* уйран — пахта.

действительно, дурил долго, не раз по пьянке приставал и к Парамуну.

Разумеется, Парамун не мог один жить в доме Хведера. Так и остался он — ни кола ни двора. Что было у него — так это любовь к Санюк. Не выходит Санюк у него из головы ни днем, ни ночью. Но Санюк пропала, как иголка в стогу. Прислала одно письмо — и больше ни слуху ни духу. Так, в ожидании, и прошла молодость Парамуна, не заметил, как стукнуло сорок три...

Не удалась жизнь и у Хведера. Женился еще, но детей не было, потому и пить начал. Так и говорит, что пьет из-за того, что нет наследника. Кончит плотничать — поят, на другой день снова поят — похмелье. И до сих пор не дает Хведер покоя Парамуну, зовет его не иначе, как свояком. Видно, любил он Санюк не меньше, чем Парамун.

#### IV

Ну и день же сегодня, не день, а год. Видно, и не кончится он никогда.

Стемнело. Парамун пошел в деревню. Дошел до дома, где когда-то жил с родными. Хоть и нет здесь из них никого, но тянет его сюда, особенно в те дни, когда ему грозит беда.

Их дом стоит как раз у переулка. Огородом протекает река. В тот год, когда началась война, они с братом сделали запруду. Она сохранилась и сейчас. Вода поднялась высоко. Но цвет у нее какой-то зловеще-темный.

Переулок порос травой, густой и шуршащей. Курносая жирная свинья аппетитно рвет ее зубами и с хрустом жует, озираясь в сторону Парамуна: мол, чего ты пришел сюда?

Состарился дом, состарился и его хозяин — Захар, купивший его в лихую годину. Уж и последнего сына успел женить Захар, и дом подремонтировали, надворные постройки заново выстроили, сменили тес на шифер. А ворота те же, что и были: на четырех столбах, обшиты тесом в елочку.

Очень хочется войти Парамуну в дом, поговорить с дедом Захаром, но что-то удерживает его. Да оно и понятно: другая семья здесь, другая жизнь.

А душа болит. Из-за Ивана Ивановича все это. Ни во что не ставит он Парамуна. С работы выкинул. А где



же ему, Парамуну, жить, у кого попросить приюта? С одной-то рукой не ахти какой он работник.

И бредет сторож обратно, к ферме...

Дойдя до первых построек, он тяжело опустился на бревно. А мысли не дают забыться ни на минуту. Неужели он в самом деле плохой сторож? Не было ночи, когда бы он хоть вздремнул на секунду. И вот вместо благодарности заведующий гонит его с работы. Почувствовал он, наверно, неприязнь Парамуна, вот и хочет выжить его.

Будто знал Парамун, что наступят для него черные дни: скопил в кассе немного денег. На них он собирался дом купить. Мужчина же он все-таки, не век ему в общежитии отираться. Так что проживет, тем более колхозникам сейчас пенсию дают. Не пропадет... Но только кому нужна его жизнь, бесцельная и никчемная?

Сидит Парамун на ивовом чурбане. Темнота спустилась, еле-еле видны окна общежития. В воздухе разносится запах парного молока, щекочет ноздри Парамуна. Но есть ему не хочется. Мысли, одна тягостней другой, не дают покоя. А еще вопрос, который надо решить прямо сейчас: выходить ему в караул или нет? И в правление не вызывали, и никто ничего не говорил, кроме Ивана Иваныча. А случись что — его же будут потом таскать: никто, мол, тебя с караула не снимал, другого не назначал. Коль так, придется, пожалуй, идти... А уж снимут, тогда...

— Парамун, куда ты запропастился? — прерывает его мысли Хведусь.

— А что, искал кто-нибудь?

— Да кто же тебя будет искать-то, кроме меня? На, пей молоко, — и доярка вручает ему солдатскую фляжку. — Пей, пей, — продолжает она — не обедал, чать, не видела я, чтоб ты готовил сегодня.

Парамун молчит, только глубоко вздыхает. Хорошая женщина Хведусь, нет у Парамуна от нее секретов, уважает он ее больше всех доярок. Как и он, работает на ферме Хведусь очень давно. Да и судьбы-то у них похожи... Хведусь за год до конца войны проводила своего Педера на фронт и не увидела больше — погиб ее любимый, осталась она незамужней.

Парамун понимает ее душу. Поэтому они часто беседуют друг с другом, а злые языки на деревне разносят

про них сплетни: мол, живут Парамун с Хведусь. Но они не обращают внимания на эти сплетни. Вот и сейчас Парамун поделился с ней своим горем:

— С работы меня снимают, Хведусь,—уже в который раз вздохнул Парамун.— Что я теперь буду делать, не знаю.

— Не тужи,—успокаивает его Хведусь.— Никуда ты с фермы не уйдешь, дома-то у тебя нет.

— К Семену Васильчу думаю сходить.

— Да он только вчера уехал отдыхать. Приедет через две недели.

Сторож снова глубоко вздыхает, потом пьет молоко и ставит фляжку на чурбан. Сейчас для Парамуна нет ничего ближе Хведусь, только она может понять его, успокоить. И сердце сторожа наполняется теплотой и нежностью к этой женщине. Он совестится своих мыслей, но не выдерживает, поворачивается к ней. А та ждет, ждет от него хоть одного ласкового слова.

— Только ты меня понимаешь, Хведусь,—бормочет Парамун, сам удивляясь нахлынувшей на него храбрости...

Сам того не ожидая, оказался Парамун с Хведусь на его излюбленном чердаке.

— Хорошо с тобой, Хведусь... Оказывается, не зря люди про нас болтали,—бормочет он, лаская доярку.— Давай вместе жить...

— А где, в общежитии?—спрашивает Хведусь.

— Избу купим. В кассе у меня пятьсот рублей, хлеба в колхозе пудов шестьдесят...

— И у меня столько,—говорит она,—да вот в деревне дома-то нет продажного...

Парамун чувствует себя сейчас всесильным, все ему кажется по плечу. И он крепко прижимает к себе Хведусь...

## V

И зажил Парамун какой-то новой, чужой жизнью. После встречи с Хведусь он заснул долгим, глубоким сном и проснулся только к обеду — почувствовал страшный голод. Но прежде чем сесть за еду, тщательно умылся, побрился и поспешил к каменной ферме, что выстроили в прошлом году.

Кабинет заведующего как раз в этом здании.

В смежной комнате хранят молоко. Зимой эти обе комнаты отапливаются паром из кормозапарника.

Парамун остановился перед дверью, с минуту прислушивался. Не слышно никого. Тогда он дернул ручку, дверь распахнулась и чуть не сбила его с ног.

— Можно войти?

— Коль открыл дверь, чего спрашиваешь?— недовольно буркнул заведующий.

— Узнать я пришел: когда ты меня с работы снял — вчера или сегодня?

— Заявление я от твоего имени отнес в правление. Будет заседание — там и освободят.

— Никто меня не освободит!— крикнул Парамун.— Ты, что ли, меня будешь кормить? Не думай, ты ведь тоже поставлен сюда людьми, и тебя могут выгнать вон!

Удивленный смелостью сторожа, Иван Иванович некоторое время молчал и смотрел на него так, точно видел впервые. Да неужели это тот самый Парамун, который и говорил только по великим праздникам, а не то чтобы ругаться?

— Ты что, белены объелся?

— Сам ее ешь! Собак моих найди! Ты их не растил. Я от себя кусок отрывал, кормил их.

— Э, нет, ты их колхозным молоком кормил.

— Колхозное пусть едят, я ведь не свой дом сторожу, а ферму колхозную.

— «Сторожу»,— передразнил его завфермой.— Как ты сторожишь-то? Сегодня ночью приходил — тебя нет.

— А насчет сегодняшней ночи другой разговор — женился я ночью.

— Не смеди, Парамун,— схватившись за живот, захохотал Иван Иванович.— Какая дура за тебя пойдет? Нашлась во время войны Санюк, а сейчас таких нету...

— За меня-то вот пошли и пойдут, а пойдут ли за тебя — вопрос.

Парамун легко вздохнул, словно свалил с души тяжелый камень, и зашагал к себе. Взял свой железный посох и, заперев распахнутую калитку околицы, направился к пруду. Здесь полным-полно ребятишек. На ферму воду берут из пруда, потому Парамун не позволяет ребятам мутить ее.

— Ну-ка, малыши-голыши, вылезайте из воды, хва-

тит, покупались. Бегите домой,— гонит сторож детей.— Непослушным — крапивой достанется.

Завидев сторожа, ребята вылезают из воды и рассыпаются кто куда. Наиболее отчаянные продолжают барахтаться. А Васюк, тринадцатилетний сын доярки Милани, даже дразнит Парамуна:

— Дядя Парамун, Санюк на побывку приехала!— кричит он с середины пруда. Отчаянный парень, остальные ни слова, а этот каждый раз норовит подразнить сторожа.

— Я тебе дам «Санюк»! Сейчас вот штаны в воду брошу...

— Давай, бросай, дядя Парамун! Санюк тебе привет передавала,— не унимается задиристый парнишка. Он прибежал на пруд в одних трусах, так что его одежды нет на берегу.

Сторожу так и хочется отстегать его крапивой, но он молча уходит.

И тут только он почувствовал, что страшно хочет есть. Вошел в комнату, включил электроплитку и поставил варить кашу.

Перекусив, снова отправился на ферму — захотелось увидеть Хведусь. Ее там не оказалось — выходной у нее сегодня. Парамун собрал свое немудреное бельишко и пошел на пруд постирать. До самой темноты скреб он у себя в комнате — чистоту кругом наводил. Стемнело — пошел на караул. Сверил наручные часы, чтобы вовремя ударить в лемех. По привычке кликнул собак, но, вспомнив о том, что заведующий спровадил их с фермы, выругал его:

— Убить тебя мало, чертово отродье! Чтоб громом тебя разразило, как Хведер говорит...

## VI

— Парамун-ун!— вдруг слышит он за спиной.— Парамун-ун!..

Сторож остановился как вкопанный, взглядываясь в темноту. Может, ослышался? Нет, вот и шаги приближаются.

— Нигде тебя не найти, Парамун-ун!

Боже, да это ж Санюк! Только она может так говорить. Выходит, не зря дразнил его на пруду Васюк. Да и Милани давеча говорила, что Санюк приехала на

жобывку, у сестер живет. И все еще не верит Парамун своим ушам, ждет, когда та приблизится.

— Ты почему не отвечаешь, иль язык отнялся?— спрашивает Санюк.— Ну, добрый вечер, что ли,— говорит она по-русоки и, хотя ладонь у нее маленькая и мягкая, по-мужски крепко пожимает руку Парамуну.

А тот, совершенно растерянный, произносит первое попавшееся:

— На деревню, значит, посмотреть приехала?

— Нет, на тебя, Парамун,— певуче произносит Санюк.

Сторож заливается смехом:

— Не смейся народ. Двадцать лет понадобилось тебе, чтоб обо мне вспомнить.

— Душу мою ты не понимаешь,— снова по-русски говорит ему Санюк.

— Понимай не понимай, а не верю я тебе.

— Ну, не верь, а я не лгу. Эх, Парамун, не знаешь ты ничего... Да что мы стоим-то, пойдем присядем где-нибудь.

— Пойдем, вон у конюшни телега стоит,— соглашается сторож.

Они садятся на телегу. И только сейчас Парамун заметил в руке Санюк сумочку.

— Что, и здесь, как в городе, с сумочкой ходишь, небось, пудру да краски носишь в ней?

— Нет, Парамун, это тебе гостинец... Ну и место же мы нашли, тут только умирать ложиться...

— Пошли ко мне, у меня комната есть.

Парамун включил свет, стараясь рассмотреть как следует свою былую любовь. Такая же молодая, круглолицая, волосы завила, пополнела. Раньше Парамун носил ее на руках, а сейчас, пожалуй, и Хведеру это не под силу.

— И постель-то не заправил как следует.

— А я летом здесь не сплю. Летом на сеновале хорошо.

Санюк молча постелила постель, взбила подушки.

— Материны подушки-то?

— Ее...

Парамун, не зная, что ему дальше делать, сел на стул, взъерошил волосы. Уж слишком неожиданно нагрянула она, точно гром среди ясного неба. Только что думал о Хведусь, а тут на тебе, явилась...

— Ты что ж, или не хозяйин в своем доме? Может, гостья проголодалась,— и она стала вынимать из сумки закуску, бутылку водки, а потом вручила Парамуну связку мелких сушек и надела на голову белую кепку.

— Подарок небогатый, но дорога память. Стаканы-то хоть у тебя есть?

— Там, в столе, есть один,— произнес смущенный Парамун, то снимая, то снова надевая кепку...— Напрасно все это ты затеваешь, Санюк,— наконец нашелся Парамун и повесил подарки на пьездь.

А та себя хозяйкой чувствует.

— Садись-ка ты, Парамун, к столу, выпей,— и налила ему полный стакан.

— Пей сама. Я ведь на службе, мне пить нельзя.

— Господи, да кому нужна твоя ферма? Пей.

Сторож дрожащими руками взял стакан. В нос резко ударил запах спиртного, его затошнило, но он мужественно влил в себя всю жидкость до последней капли.

— На, закуси колбасой. Постой, сыр вот голландский, попробуй...

Парамун с удовольствием стал жевать непривычную пищу, хоть и поел совсем недавно.

— Ну, твое здоровье, Парамун,— ласково произнесла Санюк и, не моргнув глазом, опрокинула стакан, ахнула для приличия и стала закусывать.

«Научилась, видно, пить. Когда еще со мной жила, всегда самогон в запасе держала. Говорила, что тот мужчина сильный, который водку пьет, и наливала мне перед едой рюмку. И сейчас, видно, держится этого порядка»,— думает про себя Парамун.

— Расскажи, как живешь,— просит Санюк.

— Да помаленьку обходимся: хлеба старого с избытком до нового хватает, пива — тоже; кончится в одной бочке, глядь, уж готова другая; сенокос встречаем зимним мясом, на спас — барана режем. Хватает одному-то всего, взаймы не ходим. А сама-то как?

— На пенсии я, Парамун.

— Так рано на пенсии? Ведь и пятидесяти-то нет, наверно?

— Сорок шесть. Двадцать лет работала на химическом заводе.

— Квартира есть?

— Есть. Однокомнатная. С ванной, с газом.

Так за беседой и выпили бутылку. Но Парамун и не

думал пьянеть, чему и сам немало удивился. В другой раз с такой порции в пору бы и солдатскую песню затянуть, а тут ни в одном глазу. Зато на душе легко и радостно. Ему хочется, как прежде, говорить Санюк ласковые слова, хочется обнять, но он стыдится этой погородскому одетой женщины.

А за окном уже светает.

— Помоги, Парамун,— ласково просит Санюк.— Разорила меня моя дочка. Кончила училище, стала в магазине работать. Полгода не прошло, как пятьсот рублей недостачи. А где я возьму столько денег?— плачет Санюк.— Иначе тюрьма....

«А отец ее где?»— хочет спросить Парамун, но не решается. Слезы Санюк окончательно растопили его.

— Помочь помогу, но таких денег у меня нет.

— Сестра дает двести рублей, ты хоть рублей триста дай.

Сторож долго молчит.

— И сам со мной в город поедешь. Я получаю семьдесят рублей, и ты комиссию пройдешь, инвалидность дадут. А в городе дворники нужны. Да и сама поступлю на какую-нибудь работу. Проживем, Парамун.

— Денег я дам, а насчет города надо подумать...

— Не оставлю я тебя, Парамун. Человека из тебя сделаю

— Когда деньги-то нужны?

— Завтра. Я через день хочу ехать.

## VII

Даже не отдохнул сегодня Парамун. Утром сходил в сберкассу, взял деньги, отдал Санюк. Договорились, что она зайдет к нему попрощаться, но вот уж полночь, а ее нет. Может, в гостях у кого, давно не была все-таки в деревне. Деревня большая, а угощать все готовы.

Да еще из головы мысль о городе нейдет. Как-то он там сумеет устроиться, если решится поехать? Что ждет его там? Здесь его никто не держит — семьи, дома нет. А деревня? Как ее бросишь? И что подумает о нем Хведусь? Ведь они с ней договорились сойтись... И все-таки Санюк красивее ее. Слова-то какие находит... Не зря Парамуну эта ночь показалась возвращением его бывшего счастья. И не сидится ему сейчас на месте. Были бы крылья, так и полетел бы в небеса.

И в то же время его не покидает беспокойство.

Он выходит из комнаты и начинает слоняться вокруг конюшен. Ходит, ходит, постукивает своим посохом, потом снова идет к общежитию. Здесь слышны голоса. Может, Санюк пришла?

Из дверей общежития выходит кто-то и направляется прямо к Парамуну.

— Эх и дурак же ты, Парамун,— слышит он голос Хведусь.

— Это почему же?— испуганно спрашивает он.

— А потому что дурак. В честь чего это ты Санюк деньги отдал?

— Как отдал?

— Отдал — и с концами. Она до обеда была уже на станции. Мы с пустыми флягами возвращались, а она нам навстречу. Эх ты, а еще болтал: «Дом купим, жить будем...» — говорит Хведусь. Голос у нее дропнул.

А Парамун так и застыл на месте. Годами вившаяся веревочка горя душила его...

— Парамун! Гром тебя разрази! Свояк!—вдруг доносится с того берега голос пьяного Хведера.— Баню мы колхозную кончили рубить, вот я и весел оттого... Где же ты?..

— Не откликайся,— шепчет Парамуну Хведусь.— Не откликайся ему.

— Свояк!— орет Хведер.— Болван ты этакий! Не верь женщинам. Санюк приехала, близко к себе не подпускай. Змея она! Парамун, свояк! Где ты?..

И опять все стихло. Только лягушки, напуганные криком Хведера, шлепаются в пруд. Хведер, не дождавшись ответа, замычал какую-то песню и поплелся вдоль конюшни домой.

А у Парамуна сердце от обиды и гнева вот-вот выскочит из груди. Пойти бы да выпороть этого черта Хведера. Будто без его болтовни мало горя Парамуну. Или он не знает, что и так Парамуну невоготу стало? Ходит, дразнит, как мальчишку...

«А может, во всем виноват я один?»—вдруг мелькает у него в голове мысль. Но она бессильна, эта мысль, и потому тут же гаснет, как последняя искра в золе.

Так и стоят они с Хведусь возле общежития, не произнося ни слова. Немного успокоившись, Парамун достал из кармана платок, вытер лицо.

— И вправду дурак я, Хведусь.



— Нет, не дурак ты,— отвечает доярка.— Просто ты душевный человек. Пойдем, посидим на бревне.

Рука об руку, они идут к бревну. Над ними усыпанный звездами Млечный путь. Ярко вырисовывается на небе ковш Большой Медведицы. Над лесом поднялась половинка месяца, разливая по небу бледный свет. От его света восход кажется полинявшим, выцветшим.

Смотрит Парамун на месяц и кажется ему, что и сам он похож на ущербную луну: обокрала Санюк его жизнь, искалечила молодость. Порывается он сказать об этом Хведусь, но боится слез. Сжавшись в комок, идет он рядом с Хведусь и вдруг говорит:

— Луна расколосась надвое...

Он не ждал, что Хведусь что-то ответит ему на это. Но та резонно замечает:

— Луна — она и расколется и склеится, снова полной будет. А как-то нам с тобой сделать жизнь полной и красивой, будто солнце, а?..

## КУЗНЕЦ ПРОХОР

### I

**Я** запомнил его, когда еще ребенком жил в Хурама-ле. Туда я попал вместе с отцом—его назначили директором школы в этой деревне. Там я учился в первом и втором классах. Когда началась война, кузнеца Прохора, как и других, взяли на фронт. Но больше всех мне запомнились проводы кузнеца.

...Вся деревня собралась у околицы. Уходящий на войну Прохор, словно молодой парень на масленицу, запряг самую резвую лошадь, украсил дугу разноцветными платками. Ямщиком сел сын кузнеца четырнадцатилетний Васлав, рядом с ним устроился хромой Трофим-гармонист. Одна нога у него лежит на перилах тарантаса, а другая—деревянная ниже колена — вытянута вперед. Каждого солдата провожает он, и сейчас, хлопая веками, покрасневшими от частой выпивки, заиграл солдатскую песню. Прохор, как самый главный, разудало стоит на тарантасе. Грудь его перепоясывают, словно пулеметные ленты, подаренные полотенца, а в руках — по связке красивых платков. И машет ими Прохор, словно мух разгоняет, и, кланяясь односельчанам, поет.

и поет. Песня его тоже отличная от других, не грустная. Слова ее до сих пор у меня в памяти:

Чашка полная орехов,  
Кого буду угощать?  
Уходя на фронт, которой  
Я скажу, чтобы ждала?\*

Народу — словно на базаре. Какая-то старуха, наступив мне на ногу, поносит кузнеца:

— Типун тебе на язык! Дома четверо ребят, а он туда же — «Милая чтоб ждала...»

Жена Прохора с заплаканным лицом и его родня выносят ведро пива и угощают провожающих. Прохор просит сына остановить лошадь, вынимает из кармана поллитровку.

— Слушай, народ! — кричит он. — Если разобьется эта бутылка, Прохор погибнет, если останется цела — вернется живым! — и с этими словами бросает бутылку на дорогу.

— Ух! — облегченно вздыхает толпа, и кто-то поднимает невредимую бутылку, возвращает ее хозяину. Прохор выпивает рюмку, затем наливает жене и, спрыгнув с телеги, пускается в пляс. Пляшет до седьмого пота и снова начинает угощать провожающих.

— Сельчане! — кричит он, взобравшись на плетень. — Не плачьте, не горюйте! Нет такого врага, которого б мы не победили! Через годик буду в Германии! Ждите...

Помню, как провожали других солдат, но проводы Прохора и сейчас перед глазами. И не знаю отчего, то ли от воспоминаний, то ли от недавней встречи с кузнецом, его образ неотступно стоит передо мной, и мне хочется рассказать о нем другим.

Пожалуй, нет ничего заманчивее для деревенского парнишки, чем кузница. В ожидании, когда дойдет очередь накачивать кузнечные мехи, мы просиживали здесь целыми днями. Прохор вынет из горна раскаленное докрасна железо, положит его на наковальню и начнет работать тяжелым молотом: бум! бум! Искры разлетаются во все стороны, и смотришь — из обыкновенного куска железа получается нужная вещь.

Если бы в кузнице работал кто-то другой, возмож-

\* перевод подстрочный.

но, мы бы туда и не ходили. Но дядя Прохор был исключительно интересный человек, потому мы и не вылезали от него. Одни звали его «брехуном», другие — «агитатором». Первое прозвище было понятно и оправдано, но последнее я понял совсем недавно, нынешним летом.

...Было это после окончания гражданской войны. Прохор возвратился с фронта. Стояла страдная пора — жатва. И то ли из-за того, что некому было работать в поле, то ли по другой какой причине, надумал Прохор жениться. Садится он в телегу и через поле гонит в соседнее село.

— Прохор! Соври что-нибудь! — кричат ему сельчане.

— Некогда мне с вами болтать! В Шихраны \* соль привезли, дают каждому по три пуда! — крикнул он на ходу и стегнул лошадь.

Соли в то время не было, а какой обед без соли, знаете сами. Услышав это, люди бросились лошадой запрягать. От Хурамала до Канаша 50 верст, но несмотря на то, что надвигался вечер, мужчины поехали за солью. Приехали, смотрят — ни соли, ни Прохора. Через сутки вернулись обратно.

— Зачем обманул? — наступают на Прохора.

— Сами просили, чтоб я соврал что-нибудь, — отвечает Прохор, ничуть не смущаясь.

— А куда же ты сам пропал, сквозь землю, что ли, провалился?

— Я действительно за солью ездил.

— Привез?

— Четыре пуда.

— Дай хоть займы...

— Нет, займы нельзя, — говорит Прохор, уходит в избу и выводит оттуда стройную девушку.

— Ты что над нами в глаза насмехаешься? — не выдерживает один из мужиков.

— Никак нет, — возражает Прохор. — Жизнь без жены — словно суп без соли. Вот я и привез соль...

Тут все поняли, за какой солью ездил Прохор. Не будь рядом девушки, ох и досталось бы ему! И с того дня все стали звать за глаза жену Прохора «Солью».

---

\* ныне Канаш.

Собирались мы в кузницу еще из-за того, что Прохор умел рассказывать очень интересные сказки...

С тех пор прошло уже более четверти века. Мы выросли, вышли в люди, растим детей. И вот однажды мне по редакционным делам пришлось выехать из Чебоксар в Хурамал, где я не был более двадцати лет...

## II

На краю деревни нет уже никакой кузницы. До самой околицы волнуются высокие, почти выше колен, ровные. Весна в этом году несколько запоздала, но влаги хватило вдосталь.

Деревню я узнал и не узнал. Сплошь новые дома, постройки. На улицах, которые раньше были голыми, по обеим сторонам шумят стройные ивы. В надежде увидеть родную школу шагаю дальше.

Раньше школа наша ютилась в трех домишках, от которых сейчас не осталось и следа! На их месте стоял настоящий двухэтажный дворец... Мне вспомнился одноклассник Колька. «А не сходить ли к нему?» — подумал я. Но где их дом, я уже забыл и потому спросил у одного мальчонки.

Если бы Колька встретился мне на улице, я бы его наверняка не узнал. Передо мной стоял стройный, рослый мужчина с черной кудрявой головой. Лишь по этим кудрям и признал я в нем Кольку. Подал руку, назвал себя.

Колька от удивления всплеснул руками:

— Хоть убей меня, не узнал! Ни капли в тебе не осталось от прежнего Володи!

Он взял мой чемодан и повел меня за собой.

Как и у большинства, дом у Кольки был выложен из кирпича, оштукатурен изнутри и снаружи белой штукатуркой. Под окнами отопительные батареи. Посреди комнаты — круглый стол и четыре стула, рядом детская кровать, покрытая легким тюлем.

— Сегодня я за няньку, — сказал Колька. — Не хочет мать дома сидеть, опять убежала на ферму.

Затем он взял кастрюлю, нырнул в погреб и наполнил ее свежим пивом. Вылез, развел огонь и быстро поджарил яичницу.

Вечером собрались у Кольки ребята, с которыми мы учились вместе. Осталось их немного, все почти разъехались. И пошли воспоминания на весь вечер...

Ребята, как мне показалось, ничуть не изменились, кроме Скворца. Не понравилось мне его излишнее хвастовство. Он без конца намекал, что живет лучше Кольки, что дом его снаружи такой же, но внутри любой удивится: тут тебе и диван-кровать, и телевизор, и радиола. Из его слов я понял, что четыре года он работал заведующим фермой, а сейчас в бригаде.

— Колхозных поросят на сторону продавал, за это его и выгнали,—объяснил мне потом Колька.— Разбогатеть, конечно, успел.

Когда разошлись гости, я спросил у хозяина, жив ли Прохор-кузнец.

— Разве ты его помнишь?—удивился тот.— Жив-здоров.

— Все в кузницах?

— Нет, сейчас помогает в бригаде. После войны лет десять работал кузнецом. Он у нас — первый агитатор в деревне.

— Что за агитатор такой?

— Одним словом это не объяснишь. Он всех людей исправляет, воспитывает...

— А почему он ушел из кузницы?

— Наверное, надоело. Да и то сказать, по всему району работают его ученики, повсюду хурамальские кузнецы.

— А завтра он выйдет на работу?

— Конечно, разве усидит он дома во время сенокоса.

Я попросил Кольку, чтобы он разбудил меня завтра пораньше, и лег спать.

### III

Утром жена Кольки напекла нам горячих блинов со сметаной, напоила чаем. Мне же вдобавок наложила полную кошелку еды.

— Ты бы деревянные вилы взял, потому что наверх подавать придется,—посоветовал мне Колька.

На лугах было уже много народу. Мое появление вызвало интерес, и тут уж нечего теряться, сразу начинай разговор.

— Помощь из города пришла, — говорю, здороваясь со всеми.

— Посмотрим, что за помощь,—съязвил один из мужиков.

Я посмотрел на говорившего и признал в нем Прохора. По-прежнему он был довольно крепок, лишь спина слегка сгорбилась, да появилась на ранее бритом лице борода, в которой перемешались седые и черные волосы. Из-под длинных густых бровей смотрят хитровато-насмешливые коричневые глаза.

— За вами, может, и не угонюсь, но по мере сил помогу!

— А ты, Прохор Степанович, прежде чем корову хаять, сначала ее подои,— вступилась за меня одна из колхозниц.

— Расскажи-ка лучше что-нибудь, Прохор Степанович, пока возы не подъехали,— предложил кто-то.

— Кто рано сказки начинает, тому на язык чирый может вскочить,— отшутился Прохор.

На меня уже перестали обращать внимание, и я, прислонив вилы к копне, сунул кошелку в сено.

— Сынок, сдается мне, что я видел тебя где-то,— обратился ко мне Прохор.— Постой, постой, ты не сын ли того Ивана Петровича, что до войны у нас директорствовал?

— Он самый.

— Коль так, ты не раз у меня в кузнице мехи раздувал. Жаль отца, не вернулся. Уж больно он лекции в клубе хорошо читал. А мать жива?

— Жива, работает еще.

Слово за слово ведем разговор, но на сей раз я не нахожу в Прохоре ничего удивительного.

Показались возы с сеном. Первым подъехал на тонконогом рысаке Скворец. Заметив меня, он скатился с воза и подал мне руку.

— Что, корреспондент, зарплаты, что ли, не хватает? Говорят, гонорары у вас большие...

Его слова меня сильно задели. Что знает он о жизни газетчика? И разве объяснишь ему, что работа в газете ничуть не легче труда крестьянина? Поймет ли это такой эгоист? Конечно же, нет. И я согласился:

— Не хватает, дорогой, не хватает...

А тот уже и не слушает меня, развязывает гнет, и воз, словно распущенный хвост индюка, взлетает вверх. Заметив Прохора, возчик ни с того ни с сего напускается на старика.

— Посторонись, старый лгун! Чего путаешься в ногах? Чем рот разевать, готовил бы основание для сто-

га!— орет он на Прохора и сваливает воз рядом с уложенной вчера копной.

— Наше дело сторона,— вставляет не к месту и, хлестнув лошадь, отъезжает прочь.

Поведение Скворца меня возмутило. Мне стало жаль старика. Но на его лице я не заметил ни тени обиды. Посмотрев вслед Скворцу, он произнес единственное слово «горлопан» и начал стлать ветки ивняка для стога.

— Ну, начнем,— сказал дед и бросил охапку сена.— Кладите кругом, по солнцу,— поучал он нас.

Укладывая сено мы втроем. Прохор Степанович стоит наверху и указывает нам, куда нужно подавать.

— Бросьте-ка в середину один навильник. Чтоб вода не протекала. Ты, Володя, подавай охапками...

Возы подъезжают один за другим. К обеду у меня начало ломить руки, заняло в поясище.

— Обед!— крикнул вездесущий Скворец.— Люди по три, а я четыре воза подвез. Так работают ударники,— не преминул он похвастаться.

То, что у Скворца возы были меньше, чем у других, я заметил сразу. Заметил это и Прохор Степанович.

— Дутый ты ударник, Скворец. Трудодни гонишь, да еще домой сено увозишь,— не вытерпел старик.

Скворец сделал вид, что не расслышал слов деда, вскочил верхом на лошадь и поскакал к Цивилю.

— Пошли купаться, Володя!— позвал он меня.

Подошедшие женщины устроились в тени у стогов, развязали сумки и стали обедать. Я тоже принес свою кошелку. Там оказались блины, творожники и бутылка молока. Давненько я не ел с таким аппетитом! В сумке остался один-единственный блин.

Дядя Прохор тоже мнет передними зубами хлебный мякиш, макает в соль яйцо и запивает чаем из термоса.

Вот уже и отобедали. Только Прохор Степанович остался. Наконец, и он, сделав напоследок два глотка, уложил сумку и поставил ее на копну.

— Дядя Прохор, а теперь неплохо бы сказочку послушать,— намекнула одна молодая женщина.

— Твой Скворец не хуже рассказывает,— недовольно отозвался дядя Прохор.

— Ну, не упрямясь, дед, расскажи,— поддержали женщину остальные.

— Ну, что ж, слушайте...

И дядя Прохор начал бесконечную присказку про попа и собаку:

— У попа была собака,  
Он ее любил.  
Она съела кусок мяса,  
Он ее убил.  
В яму закопал.  
Надпись написал:  
«У попа была собака,  
Он ее любил...».

Вот, пока не устанете, и рассказывайте эту сказку,— посоветовал он.

Но мы быстро разгадали хитрость Прохора.

— Дядя Прохор, хоть эта сказка и новая, ты нам все же другую расскажи,— попросила сидевшая рядом со мной женщина.

— Можно и другую,— согласился Прохор.— Жили-были старик со старухой. Собрались они однажды в гости. Лошадь паслась в табуне, в семи верстах от деревни. Пошел старик за лошадыю..

И замолк. Взял соломинку и начал ковырять ею в зубах. А потом привалился к копне и закрыл глаза.

— Что же дальше?— не выдержал кто-то.

— А дальше расскажу, когда старик лошадь приведет...

— Ты что, дед, перед приездом заставляешь себя упрашивать?— рассердилась жена Скворца.— Погоди, вот принесут учителя газеты, никто не станет тебе кланяться!

— Не дразни, молодуха, а то всю правду-сказку расскажу,— пригрозил дед.

— Давай, давай,— зашумели все.

Прохор Степанович поднялся на колени; глаза его хитро заблестели.

— Прошлой ночью сон мне привиделся. Ужасный сон. Вот состаритесь, и вам будут такие сниться... И в самом деле, жить мне недолго осталось. Так вот, будто умер я, и меня такой же седобородый, как и я, бог унес на тот свет. Высоко-высоко поднял. Даже космонавты, и те ниже нас летают. Аж земля кажется таким маленьким клубочком... И вот на том свете кругом зеленые-зеленые луга, сады. Посреди луга течет широкая,



точно Волга, река. Вода в ней чистая-чистая, нет на ней ни мазута, ни нефти. Рыба кишмя кишит. Переправил меня бог через эту реку на другой берег. Шли мы, шли — дошли до одного шатра. А за ним — глубокий овраг, в котором, пожалуй, любой небоскреб с головой скроется. Оказывается, это место для грешных, где их варят в котлах со смолой. Дух из этой ямы до моего носа шел. Я уж ни жив ни мертв. «Неужели и меня туда?» — думаю. Выходит из шатра бог и говорит: «Ну, Прохор Степанович, ты что ни на есть правильный человек в Хурамале, а потому я тебя сделаю судьей». Поставили мне ангелы стул. И не успел я глазом моргнуть, как передо мной оказалась ты, молодуха...

— Не чуди, — говорит женщина в синем фартуке.

— Ей-богу, правда. И начинает тебя бог допрашивать. Пытает, пытается — и у меня спросит.

«Жену Василия хорошо знаем: любит она людей грызть, сплетни разносит. А потому надо у нее половину языка отрезать, а самое спустить в ад», — говорит господь-бог.

— Не болтай, старый черт! — вскочила женщина.

— Я рассказываю сон. Коль не хочется слушать, не слушай, — спокойно говорит кузнец.

— Рассказывай, рассказывай, — поддерживают остальные.

— Заступился я за тебя перед богом, хоть ты и сердисься на меня. Язык, говорю, у нее, правда, длинноват, но в колхозе она работает хорошо. Трех детей вырастила без мужа и в люди вывела; дети пошли не в мать, приветливые, тихие. «Ну, тогда пошлем ее в рай», — говорит боженька. Прилетели ангелы, подхватили тебя под руки и прямо через реку перенесли в райский сад.

— Удивительный сон, — успокоилась жена Василия.

— Унесли, значит, тебя ангелы и тут же привели жену Сахруна, — продолжает Прохор.

— Это с нашей улицы?

— Именно ее. Эх, разносит ее бог! «Когда люди работают, ты пьешь-гуляешь, и муж-то тебя потому бросил, что ты пьешь. Да еще чужих совращаешь. Правление тебя оштрафовало, и то еле-еле вышла на работу. Если ты на земле была непутевой, кто тебя здесь исправит? В ад ее!» — затопал ногами бог. Тут прискакали черти, лохматые, чумазые, с рогами на лбу.

— Боженька, погоди-ка, — говорю, — жена Сахруна три года тому назад срамила свое имя. И я ее много критиковал. Но как услышала, что колхозникам будут пенсии назначать, начала работать хорошо, как все. И пить бросила. Может, ей в рай место найдется?

Взмахнул бог рукой — чертей как ветром сдуло.

«Ну что ж, пошлем в рай», — говорит.

— За ее прошлые проделки в ад бы надо бросить, — зашумели женщины. — Самой расскажем этот сон. Сегодня она свеклу прореживать пошла...

— Не мешайте, пусть дальше рассказывает, — раздался голоса.

— Третьей привели тебя, красавица, — обратился дед к жене Скворца. — Твой Петр будто сошел с ума и избил тебя всю до синяков. У этой нет никаких грехов, говорю, ее прямо в рай можно. Но бог топнул ногой — появились черти. «В ад ее», — говорит бог. Я бросился к нему в ноги, умоляю. А он говорит: «После такой жизни с беспутным пьяницей и горлопаном ей и ад раем покажется...»

Все так и зашлись от смеха. А я неотрывно гляжу на жену Скворца; она сначала тоже смеялась, слушая старика, но, когда кузнец коснулся ее самого больного места, она побледнела, потом лицо ее залила краска, на глазах выступили слезы. Она украдкой вытерла их концом платка и опустила голову.

— И тут я проснулся, — закончил Прохор. — Сегодня ночью досмотрю, что было дальше, и завтра расскажу.

Все начали обсуждать сон Прохора, называя жен Сахруна, Скворца. Прохор Степанович же отправился на другую сторону колны вздремнуть.

А тут подоспели агитаторы; заведующая клубом молодая девушка принесла газеты. Попросив соблюдать тишину, начала читать. Но от ее монотонного чтения многие задремали, другие вполголоса продолжали толковать сон Прохора Степановича.

Девушка, видать, почувствовала, что слушателям не интересно, и перешла на заметку о том, как один пастух голыми руками задушил волка, а потом прочла объявления о приеме в институты.

Вскоре снова все принялись за работу. Когда мы начали метать очередной стог, я заметил, что к нам приближается разгневанный Скворец. Свалив воз, он направился к Прохору Степановичу.

— Ты что, старый лес, сказочки про меня рассказываешь, народ смешишь? Или тебе недостаточно того, что ты снял меня с заведующего фермой? Не побоюсь, при всем народе измочалю!— взвизгнул он, замахиваясь на кузнеца кнутом.

Прохор Степанович взглянул на него с усмешкой.

— Что, никак проняла тебя моя баня?

— Я тебе пройму, так пройму, что...— орал Скворец.

— Кишка тонка...

Я думал что вот-вот начнется драка и на всякий случай приблизился к Скворцу. Но в это время работавший со мной на пару Семен Петрович спокойно произнес:

— Иди-ка ты отсюда, милый, не то... Ты только тронь старика, не я, а вся деревня намнет тебе бока.

Скворец позеленел от злости, почмокал губами и пошел прочь.

Что тут скажешь? Любят своего агитатора хурмалыцы и в обиду его никогда не дадут.

Такой уж он человек, этот кузнец Прохор.

## ГНЕТСЯ, НО НЕ ЛОМИТСЯ

### I

— Ну, что вы на меня уставились? Езжайте, никто вас не держит, дорога открыта. Только я считаю так: коль начали дело—надо его до конца доводить,—спокойно говорил уже одевшимся лесорубам Виктор Андреевич. Решительно запахнув расстегнутый полушубок и натянув на руки вторые рукавицы, он направился к вырубке.

Все молчали. Но тут заговорил Семен Петрович:

— В сорокаградусный мороз и уголовников не заставляют работать, а нам—принудиловку, что ли, объявили? Никуда не денется лес-то, потеплеет вот—тогда и вырубим...

Снова молчание, и снова Семен Петрович, теперь уже с более «вескими» аргументами для подтверждения своих слов:

— Ему что: у него жена, как лошадь, здоровая, да отец по дому подсобляет. Вот и не тронь его, зимует весь год в лесу. А у меня она, может, не сегодня-завтра

богу душу отдаст, так мне все равно тут рука об руку прихлопывать прикажешь?

Семен Петрович (он когда-то один год был председателем в колхозе, вот его и величают с тех пор по имени-отчеству) — щупленький мужичонка лет под пятьдесят. Рядом с высоким и широкоплечим Виктором он выглядит прямо-таки юнцом. Вид у него и вправду довольно жалкий: две недели небритая рыжая щетина отросла чуть ли не на два пальца и покрылась ледяной коркой. И сейчас он, сам того не замечая, старательно отколупывает с лица ледяные пупырышки. Морщинистая кожа от холода сжалась и застыла, потому он выглядит гораздо старше своих лет.

— Я тебя не держу, валяй, празднуй, Новый год встречай. И все же подумайте: ведь за каких-нибудь два дня мы закончим вырубку, так зачем же мотаться по сорок километров туда и обратно? Как вы этого не понимаете? — разгорячился Виктор Андреевич, обводя всех светло-голубыми глазами, полными обиды и гнева.

Но тут заговорили все разом.

— После Нового года успеем вырубить.

— Уже три недели в бане не мылись!

— Семью повидать хочется, живые мы люди, по-твоему, или нет?

Осипший голос Семена Петровича:

— Ты, Виктор, готов на людей хомут надеть вместо лошади, лишь бы себе доброе слово заработать. Ан дураков нет, оставайся один и руби на здоровье, пока селезенку не надорвешь.

— Ну и убирайтесь к чертовой матери, а не только томой! — окончательно вышел из себя Виктор Андреевич. — Марш отсюда! Не задерживайте трактор! Заводи! — крикнул он трактористу.

Все словно ждали этого момента и дружно бросились к будке. И только стоявший рядом с Виктором Андреевичем Альберт не двинулся с места. Интересно, почему же он остался? Ведь никто его не останавливает. К тому же, он самый молодой из всех и устал, наверное, не меньше остальных. А ведь это так заманчиво: родной дом, теплая постель, чугунок наваристых щей в печи... Эх, как хочется зарыться с головой в подушку и спать, спать, пока тело не отдохнет после маятных дней...

Лесорубы, толкаясь и переругиваясь, протискивались

в узкую дверь будки. Оглушительно трещал трактор. Не будь его, пожалуй, никто бы и не сорвался домой, не кончив рубить. И взбрело же в голову председателю прислать его именно в этот день. А ведь провизию-то тракторист привез для того, чтобы люди работали тут. Но в то же время утепленная будка на санях: мол, если захотят приехать, председатель не возражает. Тоже благодетель нашелся! Добро бы отчетно-выборное собрание было или еще что важное. А Новый год один раз и в лесу можно встретить.

Вот юркнул в будку последний лесоруб, и трактор тронулся.

— Неужто вдвоем останемся?— обернулся к Альберту Виктор Андреевич.— Вот, бараны туполобые! Ну, ничего, не тужи, мы с тобой и вдвоем горы своротим,— засмеялся бригадир, но смех получился натужный, нерадостный.

— А что, и вырубим,— стараясь держаться как можно бодрее, поддержал его Альберт.

А трактор все удалялся, и двое стояли и смотрели ему вслед. Вдруг дверца будки распахнулась, и изнутри вырвалось облако пара, а за ним кто-то выпрыгнул на дорогу.

— Педер,— определил Альберт.

— Он,— подтвердил бригадир.

— Остаюсь, принимайте в свой полк,— крикнул Педер, размахивая котомкой.— Говорят, перед бурей крысы покидают корабль. А так как я не крыса и не дезертир, то остаюсь.

— Ого, нас уже трое!— захлопал в ладоши Альберт, радуясь, как ребенок.

— Что ж, давайте почаевничаем — и за дело. Ветви обрубать теперь есть кому,— сказал бригадир, и все поспешили к будке.

Здесь не бог весть как тепло, но замерзнуть никто пока не замерз. А если еще хорошенько протопить железную печурку, то не только лесорубам, но и ласточке в пору зимовать.

Дверь открыл Альберт и чуть не вскрикнул от удивления: на тускло освещенных сквозь промерзшее оконце нарах лежит Васыли и похрапывает. Удивительная натура: выдалась свободная минута — тут же надвинет шапку на самый нос и давай посапывать, а потом, глядишь, уже и захрапел. Но стоит людям подняться, он:

тоже встает как ни в чем не бывало, берет в руки топор и за работу.

— Васьли пичче \*, ты ж проспал все на свете: люди-то домой уехали,— принялся тормошить спящего Альберт.

— Ну что ж, дай бог, чтоб дорога им вышла боком,— сладко зевая, проговорил лесоруб и тут же снова закрыл глаза.

«Вот это нервы,— позавидовал Альберт, глядя на закутанного в тулуп богатыря.— Пожалуй, каленым железом не проймешь».

Вошел Педер. Улыбаясь во весь белозубый рот, затараторил:

— Не зря говорят: что испортит один — тысяче не исправить. Нас тут, правда, всего четверо, и леса мы всего не вырубим, но уж если остался Альберт, почему бы мне отставать от него?

Поглядывая на вспыхнувшего Альберта, сбросил рукавицы, открыл дверцу печурки, деловито перемешал горящие поленья и продолжил:

— Так что как ни крути, а в аршине все четыре вершка,— произнес он свою любимую поговорку.— И вот всегда так: работающий еще не успел дело закончить, а лодырь уже за столом, в переднем углу... Ждать никто не ждет, женой не обзавелся, остаюсь, Виктор Андреевич. К тому ж я не сопливый интеллигент.

«Сопливый интеллигент» — это Альберт. Вначале он обижался на это прозвище, пытался даже ругаться с Педером, а тот расходилса еще больше. Тогда Альберт решил молчать, хотя слова Педера больно отдавались в сердце.

— Слушай, чего ты заладил «интеллигент» да «интеллигент»? — вдруг поднялся с нар Васьли.— Гляди, как бы этот интеллигент не утер тебе нос. Вот и будешь тогда прыгать, точно заяц, на одном месте.

— А зайца ноги кормят,— как ни в чем не бывало рассмеялся Педер.

Виктор Андреевич между тем снял с гвоздя мешочек с сахаром, налил в алюминиевую кружку кипятку и, помешивая чай столовой ложкой, сказал:

— Ну, острословы, пейте чай и за работу. Сказки будем потом рассказывать.

— И то верно,— не замедлил подхватить Педер.—

\* пичче — дядя.

Сначала рукам волю дадим, пусть поработают как следует, зато потом горлышку будет приятно. Недаром говорят, кто как ест, так и работает.

Васьли пичче сладко зевнул в последний раз и наконец решил слезть с нар. Потянувшись так, что хрустнули позвонки, прошел к столу.

— Мошельник ты, Педер, как есть мошельник. Ведь ты и в Новом году не женишься, а в деревне Тамара ждет. Ты и в лес-то вернулся только чтоб не жениться. — начал он поддразнивать Педера.

Того, однако, трудно было заставить врасплох.

— У умного слово на вес золота, а у дурака — что пыль по ветру. Так народ говорит, а не я, Васьли-кум. Проснулся — пей чай, — тараторил Педер.

И хотя между ними нет никакого кумовства, Педер с этого часа стал называть Васьли не иначе, как Васьли-кум.

Наконец, остроумие у обоих иссякло, замолчали.

— Ты, Альберт, не торопись, пей спокойно, а я тем временем пойду снег расчищу.

Виктор Андреевич поднялся и направился к выходу.

## II

Делянка, которую выделили колхозу, две недели назад была уставлена высокими, точно шпильки, соснами и елями. Сейчас же это чистая поляна, правда, не совсем чистая — тут и там лежат спиленные деревья; словно копны сена, висятся сваленные в кучу сосновые сучья и еловые лапы. Недалеко от будки уложены в штабеля бревна; их много — возили на шести лошадях до вчерашнего дня.

Снег в этом году выпал обильно.

Альберт идет след в след за бригадиром. Холодно. Мороз нещадный стоит уже вторую неделю. Немудрено, что у некоторых побелели носы. Только вышли из будки — и воротник пальто, и уши малахая стали белыми. А холодный воздух прямо обжигает легкие. Хорошо еще, что нет ветра, иначе и не показывай носа на улицу.

Да, и не помышлял Альберт о том, что доведется ему когда-нибудь лес валить. Но пришлось...

После окончания техникума его направили в колхоз. Назначили зоотехником. Восемнадцатилетний юноша всей душой отдался работе. Повысились надои молока, свиньи стали прибавлять в весе. А председатель готов

был на руках его носить. И все перечеркнула наступившая весна: в апреле кончился силос. По расчетам Альберта, его должно было хватить до сентября. Не учел он издержек при перевозке и закладке кормов в ясли. Да и расходовали не всегда экономно. Конечно, виноват он. Виновата его молодость. Как же, хотелось скорее увидеть результаты своих стараний. А фермы в четырех деревнях, уследить за каждой не так-то просто. Председатель одно твердит: положился, слепец, на мальчишку, вот и вышло это ему боком. Собрал правление и быстренько решил: доверия не оправдал, снять с зоотехников. Сняли. Нашлись сочувствующие, советовали в суд на председателя подать, мол, молодых специалистов увольнять не имеет права. Но не захотел Альберт по судам таскаться. Очень кстати подвернулось место счетовода в сельпо. Устроился, стал работать. Ведь не скажешь больной матери, что тебя выгнали с работы и что послать ей не можешь ни рубля. А вот любимая девушка Роза, что работала в соседнем колхозе зоотехником, не поняла его и написала такое письмо, что вспомнить страшно. Вдобавок в районной газете опубликовали фельетон под заголовком: «Зоотехник-счетовод». Как будто счетовод — вообще не человек. Ведь не слоняется он без дела, работает, как и все. Тоже, критики нашлись!.. И решил Альберт доказать всем, и в первую очередь себе, что он не белоручка, и поехал с колхозниками валить лес.

— Пила осталась у той сосны. Сбегай, принеси! — прервал невеселые думы Альберта Виктор Андреевич.

Снег выше колен. Правда, сейчас он Альберту не страшен: портянки туго притерты к валенкам. Кстати, портянки ему дал Виктор Андреевич, когда увидел, как Альберт, лежа на спине и задрав ноги кверху, вытряхивал из широких голенищ набившийся снег.

— Кто же надевает в лес такие валенки, голова садовая? — сочувственно произнес Виктор Андреевич. — На, обмотай ноги.

Бригадир бросил свои портянки.

— А как же ты? — замылся Альберт.

— У меня ватные шаровары.

Бригадир в самом деле одет тепло и удобно; широкий полушубок не стесняет движений. Альберту же прямо беда со своим пальтишком: сшитое два года назад, оно стало мало ему и не застегивается на верхнюю пу-



говицу. Застегнешь — душит, работать не дает, поневоле приходится держать грудь нараспашку.

— Ничего, — подбадривает его Виктор Андреевич, — какая же это жизнь получится, если все ее проказы на собственной шкуре не испытаешь? Ты еще молод, а молодость — точно пруттик. И гнет его и ломает, а он раз! — и снова выпрямился. Ничего, Альберт, все хорошо...

Вечерами бригадир учит его точить пилу, разводить зубья. Пилу он называет «восьмерик», потому что длинной она как раз восемь вершков.

Пока Альберт бегал за «восьмериком», Виктор Андреевич уже расчистил до земли снег вокруг толстой сосны и, воткнув в сугроб лопату и топор, закурил.

— Становись слева, — бросив окурок, приказал он Альберту, — надо приучаться обеими руками пилу держать.

Пила завизжала.

— Не криви, держи прямо ручку, — поучает бригадир.

«Не криви», а как тут не кривить, коль левая рука — это не правая. И сам не чувствуешь, в какой именно момент рука идет вкось. Стараешься изо всех сил. Чем глубже вгрызается пила, тем труднее она ходит взад-вперед. А в ушах как будто застыло: вжик, вжик, вжик...

Стучит топор по сучьям, и снова поет пила. То тут, то там одна за другой падают сосны.

Вот уж и сумерки спустились на лес. Тихо, незаметно всплыл между ветвями ярко-желтый Сириус и начал подмигивать лесорубам сквозь лунную завесу.

— Эгей, ударнички, кончай работу!

Это Педер. Но тут еще подпиленную сосну во что бы то ни стало надо свалить. Силы уже на исходе, но начатое дело надо кончить. Взад-вперед летает пила, но вот стоп! — зажало. Вынужденная остановка. Из рта валит пар, спина взмокла. Вбит клин, и снова запела пила. С треском и вздохом падает сосна.

Вот теперь можно и крикнуть:

— На сегодня хватит!

Но где там! Голос тонет в гулком уханье падающей сосны.

### III

— Тепла от железной печки — что сытости от киселя: после киселя через час снова есть хочется, и от

печки этой только отойдешь, как зубы стучать начинают,—ворчит Педер. Он пришел раньше всех, разделся, повесил одежду на гвоздь.

— Да,—неожиданно для самого себя вступил с ним в разговор Альберт,—при таком холоде недолго и закоченеть. Придется одному дежурить возле печурки.

— Вот тебе и поручим эту ответственнейшую работу,—подхватил Педер, радуясь случаю лишний раз подковырнуть.—Печку топить—это именно то, что под силу интеллигенту. Тут спина не разболится.

— Да ты и сам, я думаю, не будешь против, если тебя посадят истопником,—не сдается Альберт.

— А что? Пожалуй, и вправду не прочь отдохнуть.

— Что ж, отдыхай, сердечный, и вправду, наверно, надорвался изо дня в день кормить нас,—заговорил неслышно вошедший Виктор Андреевич. За ним показался Васьли.

— А что, собственно, сам ты умеешь готовить, чтоб похвалиться можно было?—повернулся к бригадиру Педер.

— Гречневую кашу со свиным салом. Язык можно проглотить.

— Э, нет, для новогоднего ужина это не пойдет. Тут надо что-нибудь придумать особенное. Правда, шампанского у нас нет, но ведь праздника у нас никто не отнял? А коль так, покажу вам свое умение—беф-строганов изготовлю, поняли?

Все трое молча смотрели на расходившегося Педера.

— Ну, что смотрите? Давай, Альберт, мой руки и чисть картошку. А ты, Виктор Андреевич, лучок раздень, заодно и от насморка полечишься. Хотя тебя не заставишь плакать, ты ж без совести. Ну, а ты, кум Васьли, достань-ка из-под нар свеклу и брось ее в огонь—сварится, отличнейший винегрет приготовлю. Остальное доверьте мне,—Педер плутовски прищурил глаза.

Обидеться на него невозможно, но и слушать его колкости не очень приятно. Видишь, и бригадира уколлол—«без совести».

Но голод не тетка, все дружно берутся за свой «участок работы», начальник сейчас Педер. Альберт старательно чистит картофелину за картофелиной, а глаза слипаются, по всему телу разливается сладкая ломота. Эх, взять бы кусок хлеба, посыпать круто солью и ныр-

нуть на соломенное ложе, не дожидаясь какого-то там «беф-строгана», и спать, спать...

— Ты что ж это, друг, никак уснул над картошкой-то?— вернул его к действительности голос Педера.— Давай, поворачивайся живее.

— Я же не машина.

— Ничего, пойдешь в армию, там так научат, что от машины не отстанешь. Я, к примеру, полсрока на кухне отслужил. И все благодаря моему старшине по фамилии Соловей. Уж какой там соловей, для нас он был суший ястреб. Меня он с первого дня заметил и невзлюбил. И думаете, из-за чего? Из-за песни. После отбоя мне вдруг захотелось петь, и я, решив, что старшина уже ушел из казармы, затынул:

Соловей, Соловей,  
Не тревожь ты солдат...

А он, черт этакий, стоял у двери в темноте и слушал. Раз!— включил свет и как гаркнет: «А ну, какому соловью тут не опится? Встать всем!» А я ему: «Товарищ старшина, зачем же весь взвод поднимать?» Он, конечно, сразу смекнул, кто этот соловей. «Встать!— приказывает.— Марш в столовую! Два наряда вне очереди!» Ну, думаю, пропал, неделю в армии и уже наряд получил. Вот и чистил два, а то и три часа подряд картошку. Чистое наказание... Ну, ладно, не мучайся,— обратился он к Альберту,— все равно толку от тебя нет. Сходи лучше за водой, на завтра не хватит.

— Ну, и чем кончилась твоя дружба с Соловьем?— спросил Виктор Андреевич.

— Да неужто ты ему поверил?— удивился Василью вопросу бригадира.— Пусть уж тешит себя своим враньем, и то ладно.

— Неверящему коровьи уши,— отшучивается Педер.

Альберт одевается, ему хочется дослушать Педера, хотя он тоже не сомневается, что тот больше сочиняет, чем было на самом деле.

Морозно. Луна разливает над лесом безжизненный свет. К реке сбегает узенькая тропка, протоптанная лесорубами.

Вокруг сосны-великаны. И ни звука, ни шороха. Сквозь ветви мерцают звезды, похожие на глаза рыси. Альберт поежился, вспомнив рассказы о том, что рысь

одним прыжком сбивает с ног человека и в одну минуту расправляется с ним.

Но вот и река. Черным пятном выделяется на белом снегу прорубь. Альберт быстро спускается к ней по ступенькам, вырытым по склону, опускает ведро. Но оно не проходит: прорубь замерзла. Альберт пытается зачерпнуть хоть полведра, но где там, петуху не хватит напиться. Оставив ведро, Альберт бежит обратно, к будке. Мороз сейчас уже пробирает чувствительно, руки заоченели.

— Замерзла прорубь,— выдохнул Альберт, едва прикрыв за собой дверь и втянув обеими ноздрями аромат жареной картошки.

— Эх, черт старый, я ведь и забыл тебе сказать: там кружка есть, в снег я ее рядом с прорубью приспособил,— подскочил на нарах дремавший Васьли.

— Ладно, завтра утром расчистим прорубь, а сейчас раздевайся,— сказал Виктор Андреевич.

Ну уж нет, что он для них — ребенок? Коль взялся за дело, доведет его до конца. Слава богу, девятнадцатый годок идет.

И, схватив с полки миску, парень выскочил из будки.

На сей раз он вернулся мигом.

— Полное ведро принес,— обрадованно сообщил лесорубам.

— Под нары поставь,— говорит бригадир.

— Постой, постой,— заглядывает в ведро Педер,— тебе же шальной пескарь попался.

— Точно, в самом деле пескарь, самый настоящий!— кричит Альберт. Остальные бегут к нему.

— А что тут удивительного,— невозмутимо замечает Васьли.— Высунулся подышать и попал в ведро.

— Ну, Альберт, ты именинник, жарю я его тебе сейчас по первому сорту,— продолжает Педер, первый раз в жизни оставив без внимания фразу Васьли.

— Пускай живет. Погреемся — завтра выпустим,— в один голос говорят Альберт с бригадиром, глядя, как плещется в ведре рыбка. Затем Виктор Андреевич ставит ведро под нары и снимает котомку со стены: жена прислала гостинец, а он и забыл в суматохе.

— Эх, неужто не догадалась поллитровочку вложить,— вздыхает Педер, не сводя глаз с бригадира.

— Мясо опять,— говорит тот, развязывая белый, чуть намокший мешок.— Масло, хуплу... Постой, а это что за

бидон? Молоко, наверно,— догадывается Виктор Андреевич.

— Пиво,— вздыхает Педер.

Со щелчком открывается крышка.

— Точно,— говорит бригадир,— пиво. Вот и хорошо, теперь и мы не всухую Новый год встретим.

Альберт смотрит на Виктора Андреевича и не узнает в нем всегда строгого, серьезного бригадира. Сейчас это веселый человек, глаза и губы растянуты в широкой улыбке.

— А моя, конечно, и не догадалась об этом,— ворчит Васьли.— Не мешало бы после работы стаканчик-другой.

— Нашел чему завидовать. Мне бы банку варенья вишневого — вот это праздник. Только, видно, мать не знала, что трактор в лес пойдет,— говорит Альберт.

— Кому что, а младенцу материнское молоко,— тут же отозвался Педер, пробуя с ложки картошку.

— Чуть-чуть не дошла,— сказал он и той же ложкой перемешал ее. Тут уж вставил свое слово Альберт:

— Эй ты, повар, во рту, я думаю, следует юдной ложкой кашеварить, а в сковородке другой?

— Ну, это у сопливых интеллигентов такой порядок. Уж не думаешь ли ты, что я заразный какой? Ничего, в чувашском брюхе и топор переварится.

С нар спускается Васьли и подает голос:

— Опять схватились, точно кошка с собакой, все кусаете друг друга? Эх, и молодежь... Скоро ты там свой «бехстроган» сваршишь? Слюна течет, как у голодной волчицы, удержку нет.

В это время широко распахивается дверь будки, и в нее врываются клубы пара, заслонив на какое-то время вошедшего. Но он уже дает о себе знать раскатыстым басом:

— Здорово, земляки, с Новым годом вас, с праздником!.. Нос морозом прихватило, шельма...

Сквозь рассеявшийся пар все увидели лесника. Жмурясь от непривычного света, он прошел к железной печурке, стуча промерзшими валенками. Чисто выбритый, раскрасневшийся с мороза, он выглядел празднично. За спиной двустволка.

— Входи, входи, Пантелеймон. Матвеевич, гостем будешь!— разом заговорили все.— Там, где четверо живут, пятому всегда место найдется.

— Прямо под ужин угодил, наверно, теща тебя крепко любит,— смеется Педер.

Отогревшись с мороза, Пантелеймон Матвеевич снимает с плеча ружье, вешает на гвоздь и неторопливо стаскивает с себя полушубок.

— Какой-то гад лося подстрелил... Заднюю ногу отрубил и унес, а остальное мясо в снегу спрятал. Вот уже вторые сутки его выслеживаю, видать, почуял, шельма, не появляется,— расстроенно говорит лесник, присаживаясь ближе к огню.

— Охотник, наверно, какой-нибудь.

— А, может, лесорубы?— прищурил глаз Пантелеймон Матвеевич.

— Ну, топором лося не изловишь,— вполне серьезно возражает Васяли.

— Знаю, знаю... Ну, хватит об этом.— И лесник достал из кармана ватных брюк бутылку водки.— Услышал, что вы остались в лесу, и не мог не прийти, так что уж хоть ругайте, хоть милуйте: не могу в одиночку пить — и все тут.

— Господи!— радостно воскликнул Педер.— Да таких гостей нам бы побольше!

— Спасибо, Панти,— благодарит лесника и бригадир. Он знает, что лесник зашел не столько из-за того, что выпить ему не с кем, сколько из уважения к нему. Вместе с Пантелеймоном они росли, учились в школе, в армию ушли вместе, вместе довелось с белофиннами сражаться, а потом и всю войну в одном расчете были. Только после победы разошлись их пути-дороги: один связал свою судьбу с лесом, другой — с колхозом.

— А нет чтобы прийти ко мне на кордон, пиво есть, мяса бы нажарили. Ведь в теплой избе Новый год встречать куда приятней, чем в этой конуре,— укоряет лесорубов Пантелеймон Матвеевич.

— Ладно, не ворчи, Панти, садись-ка к столу поближе,— пригласил бригадир.

Стол—одно название. Это три доски, сбитые вместе и прикрепленные в углу к двум стенкам будки. И уместиться за ним могут всего три человека, остальные лесорубы располагались на коленях возле нар, держа в одной руке ложку, а в другой хлеб и сидя по-узбекски, а точнее сказать, по-лесорубски. И все-таки Альберт готов был биться об заклад с кем угодно, что ничего вкуснее этой пищи на свете нет.

— Давайте сюда кружки,—скомандовал бригадир.— Ты, Альберт, тоже подвинь свою.

— Мне пива, водку не пью.

— Твоя воля, хочешь пива — пожалуйста.

— Ну, за Новый год, чтобы в этом году все было крепко и здорово, одним словом, за счастье,—по-детски шмыгая носом, сказал Пантелеймон Матвеевич и поднялся. Встали, чокнулись металлическими кружками.

— Дай бог не последнюю,—с чувством произнес Педер и набожно обратил взгляд в угол, где полагалось быть иконе. На лице же его блуждала счастливая плутовская улыбка.

Альберту тоже хотелось чокнуться со всеми и выпить за что-то хорошее, а за что—это он пока представлял себе смутно. Может, за то, чтобы снова вернуть себе имя зоотехника, или за то, чтобы из него вышел отличный плотник. А пока он на развилке дорог: с одной работой он, по мнению председателя, не справился, к другой еще не привык. А может быть, выпить за Розу? Ведь должна же она когда-нибудь понять его, понять, что не даровой хлеб ест он все это время...

— На, пивом запей,—предлагает кому-то бригадир, и эта фраза вернула Альберта к действительности. Он выпил и, ни на кого не глядя, стал с аппетитом есть винегрет, приготовленный Педером.

А каким вкусным оказался «беф-строганов» — картошка, жаренная на свином сале, просто чудо! Альберт немножко захмелел, и все ему сейчас казались такими хорошими, добрыми...

— Кому добавки? — спрашивает Педер.

— Положи ложки две,—протягивает миску Васяли.

— Ого, за едой ты, видать, не дремлешь,—язвит Педер.

Альберт наелся. А остальные опять разлили по кружкам, бригадир приглашает и его. Но Альберту хочется спать. Он раздевается. Тело словно без костей, мягкое, ватное. А по жилам бежит не кровь, а мед, и жизнь кажется сплошным праздником.

Глаза закрываются сами собой.

#### IV

Альберта разбудил скрип двери. И снова его забил удушливый кашель.

— Ты луку пожуй, пройдет,—советует вошедший

Виктор Андреевич. От него пахнет свежей смолой и морозом. Бригадир разжигает лучину, и в печурке дружно загораются дрова.

Альберт медлит, встать и умыться снегом не хочется — слишком тяжелым кажется почему-то сегодня тело. Но рукомойник пуст, придется все-таки идти на улицу.

Вслед за Альбертом и Васьли поднимается и Педер. Едва высунув нос из-под одеяла, он начинает поддразнивать Альберта:

— Эх, Альберт, Альберт, оказывается, ты и обниматься-то не умеешь: замерз я около тебя совсем.

— А ты свинью себе в подрупи пригласи: у нее температура выше, чем у человека,— смеется Альберт и, взяв топор и ведро, уходит расчищать прорубь.

Еще темно, но уже чувствуется наступление дня. Отстояв в карауле долгую зимнюю ночь, уходит на дневной покой месяц. На востоке уже отчетливо вырисовываются верхушки деревьев.

Прорубь за ночь промерзла еще больше, сейчас в нее даже ковша не протиснуть. Но вот с шорохом разлетается по снегу лед; брызжет вода, леденеют рукава и полы пальто... Да, нелегко расчистить старую прорубь, легче проделать новую. И все-таки она с каждым ударом топора шире, шире. Вот уже свободно пролезает ведро, но Альберт рубит и рубит ледяные стенки.

А в будке тоже кипит работа: бурлит котел, потрескивает печурка, Виктор Андреевич разводит пилу.

— Неплохо бы нам к обеду с корня все свалить, потом останется только уложить бревна да сучья спалить,— говорит бригадир.

Педер всегда готов поддержать разговор:

— Если Васьли дремать поменьше будет, пожалуй, кончим.

— А ты не рвись шибко-то, ретивый больно. Ретивый, он быстро сгорает, а потом и цена ему в полчеловека, так-то,— слышится из угла сквозь звяканье посуды голос Васьли.

— А кто за работой дремлет, говорят, до ста лет доживет,— не отстают Педер.

— Вот и хорошо,— соглашается Васьли.

Альберт принес ведро воды и принялся точить топор. Но вот готов завтрак — пшенная каша и чай. Сегодня Альберту не на чем сесть. Он ест стоя.



— Ростом выше будешь, не огорчайся,— шутит бригадир.

Вдруг открывается дверь, и в будку вваливается вчерашний гость.

— Привет землякам,— говорит Пантелеймон Матвеевич.

— Садись к столу,— приглашают лесника колхозники.

— Садитесь некогда: пилу ручную я вам принес на подмогу, забыл вчера про нее совсем, на полпути вспомнил, да возвращаться назад не захотелось.

— Что за пила такая?— оживились за столом.

— «Дружба» называется. На бензине работает, вот тут литров двадцать, пожалуй, будет,— кивнул на канистру лесник.— А то вы тут до масленицы провозитесь.

— Где ты ее раздобыл?— спрашивает Виктор Андреевич.

— В лесхозе взял, у рабочих. Они кончили рубку, раньше недели не вернутся. Так что работайте, не торопитесь.

Тут и Альберт смекнул, о какой пиле шла речь,— конечно, о механической. Только вот кто и как на ней работать будет?

— А ты садись, позавтракай с нами, Панти,— приглашает бригадир.

— Нет, нет, спасибо, я привык дома спозаранку завтракать. А вы ешьте скорее, да за работу.

Пантелеймон Матвеевич присел на нарах и свернул большую, с палец сигарку.

— Если пила не забарахлит, завтра управитесь. За день ею не меньше пятидесяти фестметров можно сделать,— вдохновляет лесорубов Пантелеймон Матвеевич.— Правда, тяжеловата, но мне как раз под силу, я и буду ее таскать. Ну, собирайтесь, пошли. Ты, Альберт, только топор бери, сучья будешь обрубать.

Виктор Андреевич и Пантелеймон Матвеевич внесли пилу, приставили около печки — разогреть мотор. Вот лесник наполнил бачок бензином, включил мотор. Вначале он как-то натужно кашлял, чихал, но потом зарокотал мерно и плавно.

— Ну, с богом,— сказал бригадир, и все двинулись к вырубке. Виктор Андреевич каждый раз полушутя-полусерьезно произносит это благословение.

Вот уже свалена первая сосна. Альберт берет мет-

ровую палку, откладывает ее по стволу шесть с половиной раз, делает зарубку — стандарт: бревна должны быть все одинаковой длины — и начинает обрубать сучья. Стук топора, веселое жужжание пилы как бы подгоняют, прибавляют сил. Только вот кашель доводит.

Да, сейчас Альберт уже не новичок на рубке, знает, что к чему. Например, для начала надо свалить в одну сторону тридцать-сорок деревьев — они примнут снег, да и сучья будут в одном месте, собирать и жечь их удобно.

— Поживей, поживей, Альберт! — подбадривает паренька бригадир. — С моих деревьев сучья не руби, я их пилой смахну, за другими поспевай!

— Хорошо! — отзывается Альберт.

Кипит работа. Перекликаются ручная и моторная пилы, не отстают от бригадира и лесника Педер и Васыли — уже свалили вторую сосну. Наполняется рабочим ритмом холодный зимний лес.

## V

И снова ночь. В будке жарко, словно в бане: печка раскалилась докрасна, дышит огнем во все стороны. Поужинав, все ложатся, хотя сегодня устали меньше, чем в другие дни. Все тусклее — становится вздрапывающий язычок керосиновой лампы — на нее тоже, видимо, действует жара.

— Газету уже полмесяца в руках не держал, — вздыхает Альберт.

— Не говори, — поддерживает его бригадир. — Хоть бы приемник какой поставили в этой будке. Не разорился бы колхоз от этого.

Скучно лесорубам долгими зимними вечерами. Уже пересказали все смешные и грустные истории, некоторые даже по второму кругу пустили. А что делать? Вот и сегодня Васыли пичче предлагает Педеру рассказать что-нибудь смешное.

— Педер, — говорит он, — Расскажи-ка, как ты свататься ездил к одной девке, а тебе ее не дали.

— Да я не сам, Семен Петрович вызвался, так что и рассказывать-то нечего, — отнекивается Педер.

Педеру тридцать один год, но он еще не женат. Некогда ему о себе думать. Пришел из армии — два брата женились, отделились, дома свои ставить наду-

мали. Вот и не выпускал Педер топора из рук. А в позапрошлом году и младший братишка прямо из армии вернулся с майрой. Стало быть, Педеру пора из родительского дома уходить. Выстроил Педер себе славный дом, печку сам сложил, заходи и живи любая невеста, а он все медлит.

— Ну, ладно, так и быть, расскажу,— соглашается Педер.— Было это на октябрьскую. Прилетел к нам Семен Петрович на лошади. «Дай выпить»,— говорит. Дал. Опьянел он крепко и начал ломаться, намекать на что-то, а на что — не пойму. Потом дошло: свататься зовет. К кому, спрашиваю. «Как к кому?— взвинулся тот.— Да за такого парня, как ты, любая пойдет! А еще знай, с кем ты едешь: с бригадиром, вот с кем! Так что садись и едем к учительше». Это к Тамаре Сергеевне, что в прошлом году институт окончила. Я от него и так и сяк, а он ни в какую: едем—и все тут. Спойть его решил, а он, словно дуб, крепехонько на ногах стоит. Нашел я в сарае старую ступу, бросил в сани, поверх какую-то рогожку кинул. Вошел в избу и говорю: «Согласен, едем». Мать нас, как полагается, благословила, дверь распахнула. А я скорее в сани, рогожку вздыбил и сел за ступой. Наконец вскарабкался и Семен Петрович, мой сват новоиспеченный. Взялся за вожжи, стегнул лошадь и запел. Как только сани тронулись, я и спрыгнул. Он и не заметил — ступа-то на санях, а меня за ней и не видно. Доехал и говорит: «Педер, вставай!»— рассказывают мне потом. А Педер не отзывается. Ну, видать, сват мой решил, что жених пьян пуще него, пусть, мол, спит, и один пошел в избу. Так и так, говорит, телку хотим купить, короче — сватается. Дочери дома не было, а родители давай стыдить свата: «Ты что ж это, старый хрыч, второй раз жениться надумал? А куда ты свой выводок денешь?» Как накинулись они на бедного свата, от того пух и перья. Но он дипломат великий, тут же протрезвел и говорит: «Жених в санях лежит, с животом что-то у него плохо, прямо посередь дороги скрутило. Если в вас хоть капля совести осталась, занесите его да обогрейте». Те скорее фонарь зажгли и во двор, смотрят — а в санях никого, кроме ступы да старой рогожки. Отец Тамары не выдержал да как треснет свату по уху. Тот как рухнул в сани, так и не проснулся, пока лошадь его на конюшню не привезла. Конюхи его там к себе в общежитие завели и уложили...

Все смеются над незадачливым сватом, Альберт же искренне удивляется: как это Семен Петрович человека от ступы не отличил?

— А ты попробуй напиться до такой степени, пожалуй, свинью вместо своей любимой обнимешь.

Сон и усталость уходят, начинается оживленное обсуждение рассказа Педера. А Виктор Андреевич и Вася даже привстали и сидят на своих нарах. Педер же — точно заведенный патефон, только слушай.

— Значит, проучил я тогда Семена Петровича, а то он как выбился в бригадиры, невыносимым стал: без пол-литра к нему не подступись. Надо лошадь куда-нибудь съездить — давай бутылку, хочешь трудодней чтоб было побольше — ставь бутылку. Хозяин, одним словом. Возненавидел он меня после неудачного «сватовства» — стал гонять на мелкую работенку, где за день с грехом пополам полтрудодня сделаешь, а то и меньше. Ну, думаю, погоди, видно, еще раз надо тебя проучить. Идет он однажды выпивший, увидел меня и как ни в чем не бывало: «Петруш, не найдешь ли горло прополоснуть чем-нибудь?» Как не найти, найду, отвечаю, проходи, садись в передний угол. Сбегал я к колодцу, принес полное ведро ледяной воды. В одной руке держу двустволку, в другой — двухлитровый банный ковш. Выпей, говорю, пять таких ковшей, не то разряжу в тебя оба заряда. В момент протрезвел мой бригадир, а лицо от страха, словно холст, побелело, и губы дрожат, точно лист осенний на ветру. «Ты что, — говорит, — с ума, что ли, спятил?» Но все-таки пьет. Один ковш, второй... Икать начал. Еле-еле третий ковш допил, взмолился. Сжалился я. Вот, говорю, тебе бог, а вот порог, и не вздумай еще раз прийти ко мне — вот ружье. Как ветром сдуло шкурника. И до сих пор об этом ни он никому ни слова, ни я — только вам вот рассказал. А через месяц его из бригадиров выгнали...

— Да, мужик он и вправду противный. Не начини он, пожалуй, никто бы и домой не поехал, и лес бы вырубил. А теперь вот торчим здесь, а что толку — вывозить-то все равно некому. И на кой черт ты его взял к себе в бригаду, Виктор Андреевич? — возмущается Вася. — Что толку от него? Ни плотник, ни другой работник, нахлебник — иначе и не назовешь.

— А как же быть? Если мы от него откажемся, кто же будет с ним возиться? — вопросом на вопрос отвеча-

ет бригадир.— Если бы все люди были честные да правильные, давно бы мы при коммунизме жили. В одной семье и то все дети разные, что поделаешь.

И льется беседа за полночь. Но вот первым начинает позевывать Альберт, за ним остальные. Кашель его сейчас бьет меньше; некоторое время он еще различает отдельные слова, а затем погружается в сон.

## VI

Сегодня лесорубы рубят на берегу Цивилия. Лес здесь смешанный. Спиленная сосна рухнула и легла рядом с белоствольной березой. С треском валится под тяжестью сосны старый сухой орешник. Его черная сгнившая сердцевина четко вырисовывается на белом сломе. И только кусты ивняка не сломались, хотя и по ним пришелся сильный удар макушки. Они пригнулись к самой земле, но уцелели.

«Удивительная штука природа,— размышляет Альберт.— Рядом растут совершенно непохожие деревья: дуб, сосна, крепкие, стройные, никому их не сломить, не заставить склонить головы. А кустарник? Орешник, шиповник, например? Они тоже хотят жить, не хотят сгибаться, тянутся к свету, борются за жизнь. Точь-в-точь люди. Ведь есть и люди с такими же крепкими сердцами, сила в них, словно бушующий океан. Уж они-то наверняка достигают своей цели в жизни, ничто их не сломит, не остановит. А есть и мягкотелые, которые плывут по жизни, точно сорванные ветром осенние листья по случайному ручейку...»

Устав махать топором, Альберт сел на сваленную сосну и вдруг увидел, как распрямляются прямо у него на глазах подмятые упавшей сосной кусты ивняка. Какая-то щемящая радость наполнила его всего.

— Гнется, но не ломится,— сказал он вслух и улыбнулся.

Спалить сучья — дело нехитрое. Бересты полным-полно, стоит ее поджечь, как пламя охватывает сучья, лижет зеленые иголки, во все стороны летят искорки, лопается вода в сырых ветвях. А главное — тепло и радостно от огня.

Вот уже Педер и Васяли кончили распиливать сваленные деревья на шестиметровки и подошли к бригадиру. Вместе веселее и легче работается. Они сменяют

друг друга: Васьли пичче идет рубить и палить сучья, Альберт — к Педеру в напарники. Но, оказывается, больше нечего валить — кончилась делянка. Однако речи об отъезде пока нет.

К вечеру Альберт еле держался на ногах: они у него были какие-то непослушные, тяжелые. А кашель больше не мучил. Видно, и он устал, а может, помог лук.

Ночью лесорубов разбудили шум и громкие голоса около будки. Виктор Андреевич встал, зажег лампу, открыл дверь.

— Вот и нашелся хозяин убитого лося,— услышал Альберт голос Пантелеймона Матвеевича.— Прости меня, Виктор Андреевич, вначале я думал на твою четверку. А ты проходи, проходи,— обратился лесник к стоявшему за его спиной человеку.— Иди на свет, не бойся. Сумел злое дело сделать, так уж не робей.

Лица браконьера еще невозможно было разглядеть. Наконец тот заговорил:

— Панти, не продавай чергу душу, ты же односельчанин, и вы тоже...

— Ба, да это же Семен Петрович!— воскликнул Педер и соскочил с нар.— Рад тебя видеть, ни дна бы тебе, ни покрывки. Никак, работать пришел?

— И мясо поделите меж собой,— тянул тот, не обращая внимания на Педера.— Слова никому не скажу, молчать буду.

— Ах, вот ты чего захотел?— наступал на него лесник.— За то, что ты, тыловая крыса, ворованный пистолет у себя прятал, разве за это прощают?

— Ну, от тебя, душегуба, я и не жду прощения. А вы, родные, Виктор Андреевич, Педер, заступитесь ради бога за меня! Аль обеднеет весь Союз, если я одного лося убил? Ну, не убей я его, волк бы мог задрать или охотник другой...

— Я тебе не помощник и не советчик,— отрезал бригадир.— Ты, когда на это дело шел, у меня совета не спрашивал?

— Попался, значиг, черт плешивый?— с презрением глядя на браконьера, говорит Педер. А тот падает на колени и опять начинает:

— Васьли Константинч, Альберт, ради бога, смилюйтесь, семерых детей пощадите!..

Он ползет на коленях к столу, и под тусклым светом лампы поблескивает его вспотевшая лысина.

Альберту жалко этого унижающегося человека. «Отпустите его!»— хочется крикнуть ему, но вот перед глазами всплывает другой Семен Петрович, тот, что подбил всех уехать на Новый год в деревню,— веселый, наглый, машущий им на прощанье рукой. Так вот зачем ему понадобилось народ из лесу вывезти: чтобы без свидетелей приехать и забрать лося!

— Эх, Семен!— укоризненно качает головой Васьли.

— Смотреть противно,— выпаливает Альбёрт, и его взгляд на минуту встречается с злыми глазами Семена Петровича.

— Ах ты, крапивник!— кричит он.— Нос не дорос, чтоб меня судить! И вы мародеры, все, все! Пейте мою кровь, радуйтесь!..

Неожиданно вскочив, он хватается шапку и исчезает за дверью. За ним — лесник, раздетый Виктор Андреевич. Снаружи доносится шум, возня, потом все стихает, и в будку входит бригадир.

— Связал и усадил в сани,— усмехаясь, говорит Виктор Андреевич.— Молодец, Панти, недаром мы с ним немецкого генерала в плен взяли. Помнит фронтовую хватку.

— А в какое время он ухитрился его застрелить?— спрашивает Альберт.

— Лося людей не боятся, их в любое время и с любого расстояния можно убить,— отвечает бригадир.

— Постой!— вдруг говорит Васьли.— Помнится, два раза после обеда он куда-то исчезал, в это время, наверно, и прихлопнул. А котомку-то домой какую пузатую повез, сам я ее взваливал ему на спину.

— И какой дурак лошадь дал ему в такой мороз?

— Нашелся, наверно, дружок.

— Да, дерево с дуплом — это уже не дерево, как за ним ни ухаживай,— говорит бригадир, задувая лампу.

## VII

Наутро, когда все уже были готовы в дорогу, послышалось фырканье «газика»— явился сам председатель, Тимофей Иванович.

— Вы куда?— едва вывалившись из кабины, крикнул председатель.

— Домой.

— Как домой? А рубить кто будет?

— Кончили рубить.

— Не может быть! Вы же остались Новый год праздновать у Пантелеймона Матвейча!

— Кто это вам сказал?— спрашивает бригадир.

— Семен Петрович.

— А сам он где?

— Говорит, свояченица умерла. Вчера на лошади хоронить поехал.

— Какая такая свояченица?

— А та, что в Мынсирме живет.

И Виктор Андреевич рассказал, что произошло в лесу.

— Ах, подлец!— возмутился председатель.— Ах, шельма! Вот по ком тюрьма плачет!.. А вы молодцы, молодцы,— несколько успокоившись, похвалил он лесорубов.— И ты гут, Альберт?

— А что я, хуже других? Это в газете меня беглецом обозвали. Были бы руки, работа найдется.

— Вот это разговор!— Председатель похлопал парня по плечу.

Около машины топчутся трое колхозников, что сбежали из лесу под Новый год,—подмога. Чувствуют себя неловко, а потому не вступают в разговор.

— Ну, орлы, полезайте в машину, отвезу вас скорее в баню,—обращается председатель к бригадиру и остальным.—Сам я останусь здесь.

— А ты, Тимофей Иванович, сначала их отвези,— кивает Педер в сторону троих сбежавших из лесу,— они ведь торопятся. А мы и пешком дойдем, дело привычное.

— Поимей совесть,— говорит один из колхозников, кажется, Митрахван.— Сам-то с полпути спрыгнул.

— А знаешь ли ты, глупая голова, что тот солдат герой, который сначала бежит, а потом возвращается на позицию? Посторонись-ка лучше, дай дорогу герою труда. Гони их, Тимофей Иваныч, пешком.— Лихо открыв дверцу. Педер уселся рядом с шофером.

— Продукты оставить или с собой забрать?— спрашивает бригадир.

— Забирайте,— отвечает председатель.— Сегодня два трактора придут, привезут, если мало.

— Вот ключ от будки, входите, располагайтесь.

Машина тронулась с места. Дорога разрыта тракторами, и «газик» прыгает, точно крошечная лодка на гребнях высоких волн. Но лица у лесорубов радостные.



— Как министры едем,— смеется Васьли. Он уже зеваает, скоро начнет дремать, несмотря на ухабы.

— Хорошо,— довольно похлопывает по плечу Альберта бригадир.— Сейчас доедем, баню истопим, напаримся так, чтобы кости вспотели. Пива выпьем. Хотя нет, тебе лучше водку с медом. И не вздумай упрячиться. Средство верное, проверенное. Как рукой снимет твой кашель. А потом на перину и спи целые сутки, никто тебя не потревожит...

— В баню страшно хочется,— соглашается Альберт.

— Истопим, истопим. А ты молодец, хорошо ответил председателю: что я, хуже других? Хороший из тебя выйдет плотник. Экзамен выдержал на «отлично». Лес рубить — это дело потрудней всякого, иные со стажем не выдерживают.

— Плотник ты у нас будешь не простой, а с дипломом зоотехника,— язвит Педер в адрес Альберта.

— Начал, черт колючий! Ты ведь тоже у нас ученый: после десятилетки лес валишь,— вступился за Альберта Васьли.

— И все-таки я зоотехник,— говорит Альберт.

Он не обижается. Пусть тешится на здоровье, а он, Альберт, еще докажет всем, на что он способен. И Роза напишет ему первая...

А «газик» упрямо карабкается по снежным завалам, фырчит, натужно крикает. Лесорубы вслед за Васьли начинают дремать.

## ЗАПОЗДАЛЫЙ СУД

— **О**тец, а отец! Ты что, не пойдешь разве?— спросила мужа тетка Серахви, поправляя на голове праздничный полушалок.

Стяппан вздрогнул, но тут же собрался и как можно спокойно ответил:

— Голова что-то болит. Давно болит, почитай, вторую неделю.

— Гляди ж ты на него: люди со всего района съехались, легковушек целый полк прибыл, а он не хочет!.. Давай, давай, собирайся, и голове полегчает на воздухе-то. А то сидишь, точно бирюк, всеми днями в избе, и впрямь расхвораться можно,— не отступала Серахви.

— Ну, хватит,— сердито оборвал жену Стяппан.— Сказал не пойду — значит не пойду.

Серахви с укоризной посмотрела на мужа, но кланяться больше не стала. Только, уходя, громче обычного хлопнула дверью.

Стяппан тут же метнулся к окну. У клуба, расположенного прямо напротив дома, народу в самом деле было очень много. В центре толпы возвышался покрытый белой материей обелиск. Он был высокий, выше деревенских изб, и островерхий, со звездой, которая ночью горела красным светом.

Да, вторую неделю болит голова у Стяппана. Да что голова, душа мечется, не находит выхода. Болит, ноет сердце. Сон не сон, а бред сплошной, и не знает Стяппан, наяву все это с ним происходит, или в полузабытьи. А недавно он вскочил с постели истошно крича:

— Кирле! Кирле!

Приснилось ему и вправду страшное. Будто Кирле его в тюрьму упрятал. Сидит Стяппан на стуле, а вокруг него Кирле ходит, ходит, как маятник, и говорит, говорит тяжелые слова:

«Ну, кто же из нас вышел победителем? Вы или мы? Все-таки мы, если про нашу деревню Висьсирму вся республика знает. Так что бита ваша карта, не сумели вы нам помешать... Убить ты меня хотел. Да разве можно меня убить, глупая твоя голова? Я с народом, в народе живу, а ты не своим умом жил, слушал кулачье, волю его исполнял. Вот теперь и мой час пришел с тобой расплатиться...»

И будто Кирле сдавил Стяппану горло своими жилистыми ручищами. Хочет освободиться от него Стяппан — и не может, задыхается. Тут-то и заорал он.

— Ты чего кричишь? — проснулась жена. Не сказал ей Стяппан про жуткий сон, но едва закрыл глаза — снова тот же кошмар, снова он в тюрьме, и Кирле вершит над ним справедливый суд. Тут Стяппан понял, что суд этот может и должен свершиться наяву. Не зря он боится сейчас даже приблизиться к окну. Он только и ждет, что кто-нибудь из толпы заметит его и крикнет: «Вот он, убийца Кирле! Вот он!...»

Стяппан шарахается от окна и садится в угол на табурет. До боли зажмурив глаза, он пытается прогнать от себя этот крик, эту страшную мысль, но она будто впрягла его в повозку и погоняет, и хлещет...

Стяппан начинает искать корень своего беспокойства. С чего все это началось? Пожалуй, с того дня, когда Стяппан ненароком забрел на строительную площадку возле клуба, где сооружали обелиск. Помнит он, что вместе с каменщиками тогда был Андрей Викторович.

— Не убили бы его тогда, жил бы и по сей день,— услышал Стяппан его голос.— С его здоровьем-то до ста лет бы ни разу не кашлянул...

— Андрей Викторович, а кто же все-таки убил?— спросил кто-то из старшеклассников.

— Знать бы кто — наверняка он не ушел бы от нашей кары,— ответил Андрей Викторович и будто невзначай взглянул на Стяппана.

Вот с того взгляда и забеспокоился Стяппан, завозились в нем тревожные мысли.

...Отца Стяппан не помнил — он пропал без вести в первую мировую. Мать вскоре после гибели отца вышла замуж второй раз, а ребенка ей старики не дали. Родителей ему заменили дедушка и бабушка. Было у Стяппана все — и детство, веселое и безбедное, и юность, но мало что помнит он из той счастливой поры. Помнит только деда, хорошо помнит...

1928 год. Осенняя темная ночь. Окна в избе завешены одеялами, бабушкиными шальями. Тускло освещает жильё «мигалка» — керосиновая лампа без стекла. Стяппан застыл в тени старой ивы с топором в руках. И вот пришел один, за ним — другой, третий... Собрались все деревенские кулаки. Шли, как воры, задами, огородами, под ночным покровом.

Без скрипа отворилась хорошо смазанная дверь и одного за другим поглотила собравшихся. Стяппан узнает всех: глаза привыкли к темноте, и он видит, как кошка.

Постояв еще некоторое время, Стяппан идет во двор, спускает с цепи опромного пса и входит в избу.

— Не учуяли нас собаки Кирле? — вонзив в Стяппана черные, с сухим блеском глаза, спросил дед.

— Нет, — уверенно ответил Стяппан, — ночью они боятся ходить.

Не тая от внука злых намерений, дед зашипел собравшимся:

— Думаете, про колхозы зря болтают? Не зря. Вон, в Малой Висьсирме коммуны сколотили, гляди, не сегодня-завтра и к нам нагрянут. Вспомните потом меня, да

поздно будет. Я ведь «Правду» регулярно читаю, задуматься есть над чем.

— Перебьем, на куски разрубим!— визгливо кричит Левон Уткин, но дед осаживает его:

— Всех не перебьешь, у сорной травы корни ой-ой живучи. Выдернешь одну — на ее месте другая проклюнется...

— А нас что, мало?— опять не выдерживает Левон.

Это тощий и длинный мужик. Своими кривыми, похожими на клещи хомута ногами он напоминает нескладного паука. Желто-водянистые глаза всегда воспалены, видимо, от недоедания: жаден до предела. В деревне все знают: хлеб у него в амбарах гниет, а за столом сам нарежает жене и детям по одному тонкому ломтику и мясо тоже делит сам. Случись ему ехать в город за девяносто километров, берет с собой краюху хлеба, два яйца да бутылку уйрана — и весь провиант. А бывает, одно яйцо и обратно привезет.

— Да помолчи ты, дай послушать умного человека. Тит Захарыч не тебе чета — знает толк в бумагах, — зашикал на Левона кулаки.

Тит Захарыч — это дед Стяппана. То, что среди этих людей он голова, чувствуется во всем.

— Несдержанный человек часто спотыкается, — степенно начинает он. — Я уж седьмой десяток размочил, повидал и горячие, и холодные головы. Жить мне, может, и немного осталось, не о себе пекусь, а о вас. Послушайте моего совета: прячьте хлеб, скот режьте, голыми в колхоз ступайте. Не жалейте, своим горбом нажили — своими руками уничтожьте.

Собравшимся не по душе слова деда. Его обвиняют в трусости перед большевиками.

— Чего нам их бояться?— визжит Левон. — Вырежем всех, до одного!

Дед, метнув в его сторону сердитый взгляд, говорит Стяппану:

— Иди-ка, послушай, нет ли кого под окнами.

Стяппану не доверяют, он моложе всех, однако о чем совещались в избе, стало ясно через три дня.

На рассвете в сельсовет привели Левона Уткина. Весть эта мгновенно облетела всю деревню. Попался он очень глупо. Андрей Викторович, председатель коммуны, задержался на ферме до глубокой ночи. Его-то и решил подкараулить Левон. Но в темноте обознался:

выстрелил в брата Андрея Викторовича, который шел в это время улицей. Ранил в плечо его Левон. Андрей Викторович как раз с караулом обходил колхозные дворы. Увидел он бегущего и подставил ногу. Левон со всего размаху шлепнулся, и ружье в сторону отлетело. Связали его, поддали крепко и в сельсовет. Вызвали из района милицию и в тот же день увезли из деревни.

Дед после этого случая задумался.

— Не послушались меня. Говорил, не время еще убивать, вот оно и вышло боком. Теперь, не ровен час, и за мной придут... Ты вот что, Стяппан, возьми-ка эту игрушку, стрелять тебя научить хочу...— И дед, достав из ларя обрез, вручил его Стяппану.

Одевшись, они пошли огородом к лесу. Вдруг дед остановился около старой яблони, подозвал Стяппана и зашептал ему на ухо:

— Под моими ногами — серебро и золото. Настанет трудный час — только тогда прикоснешься к нему. На твой век добра хватит. А мне оно не понадобится: небось, схватят — уж не отпустят.

Тут дед выпрямился по-молодому, поглядел пристально внуку в глаза и заговорил в голос:

— А за меня отомсти. Кирле — мой первый враг. Только действуй один. Посвятишь в это дело кого другого — считай, тайне твоей конец. Ты меньше с людьми говори, а больше слушай. Бог не зря дал два уха и один язык, понял?

Напрасно боялся дед ареста. Его даже не вызвали в сельсовет. Вызвали Петра Сямука раза три, да и то выпустили. Опасность миновала, и дед приступил к делу. Продав двух коров, а когда бабушка стала ворчать на него, ответил:

— Умом не вышла, чтоб меня учить. На троих и одной коровы с избытком.

Чтобы прослыть середняком, дед продал и лошадей, оставив себе жеребца карей масти.

— Погоди,— говорил он, усмехаясь Стяппану,— вот отделию тебя, тогда, глядишь, беднее середняка останусь,— и смеялся многозначительно и едко.

Летом дед и вправду начал готовить лес для сруба. Вдвоем со Стяппаном валили они вековые сосны, а вывозить его уже собирали нимé — «помочь».

— Раньше Тит Захарыч лесом торговал, а теперь сам лес рубит. Вот она, жизнь, меняется как вешний

ветер: не знаешь, куда и повернет,— судачили деревенские мужики.

Дед уже редко надевал сапоги, ходил в лаптях, в залатанных шароварах. Он продал даже свой сохман\* из тонкого черного сукна, а носил простой ватный пиджак. Никто при виде его и не подумал бы, что еще несколько лет назад добрая половина жителей Висьсирмы ткала на него рогожи, а наймиты-возчики вывозили ее в Шупашкар. Торговал дед и яйцами, и луком.

Сейчас же Тит Захарыч гнул свою линию. На людях он плакался, что вот отделит внука и останется голый, как остриженная овца.

Стяппану сельсовет выделил участок в самом центре деревни. Дед остался этим недоволен:

— На околице надо было просить, дурень ты бестолковый. В деревне-то все на виду, а в поле — ветер свидетель. Эх, все учить тебя надо!

К осени и дом, и двор были готовы. Дед отдал Стяппану один амбар. Хозяйство получилось крепкое, надежное. Двор обнесли высоким тесовым забором, без единой щели, поставили ворота на резных дубовых столбах.

— Сирота ты,— говорил дед,— никто тебя не тронет. Кто знает, может, и мне доведется здесь век свой доживать.

Стяппан рад был разделу. Он давно мечтал пожить на свободе, подальше от пронзительных дедовых глаз. Он и невесту себе уже присмотрел — дочку богача Митрахвана. Но дед пока про женитьбу не говорит ни слова, да и делиться вроде не торопится. Каждую ночь уводит Стяппана в новую избу, зажигает коптилку и спускается в подпол. За ним следует и Стяппан. Дед задумал вырыть потайной ход из подпола в сарай. Дед копает, а Стяппан таскает землю наверх, к речке.

— Горстями бросай в реку, чтоб вода унесла без остатка,— учит дед.

Прошла осень, за ней не замедлила явиться зима. В деревне только и разговору про колхоз. Дед уже больше не собирает своих единомышленников. Он целиком поглощен своей затеей. А получилось действительно внушительное сооружение: подземный ход соединил подпол с погребом и имел выход в сарай; стены и потолок его были обшиты досками. Довольный, дед, перекрестившись, сказал:

\* сохман — кафтан.

— Ну, слава богу, теперь можно жить и не бояться. На земле дороги не будет — под землей есть. Да и спрятать тут можно, что подороже...— И неожиданно дед перевел разговор:— Дай только волю этому Кирле, он с живого с меня шкуру сдерет.

Уж очень боялся дед, что Кирле рано или поздно отправит его в тюрьму. Поэтому ненавидел его люто.

В деревне Кирле появился в 1921 году, как раз на масленицу. Стяппан был тогда еще мальчишкой. В деревне знали, что Кирле за свою недолгую жизнь успел повидать многое. На царскую войну его взяли в самом начале, и за все время он ни разу не был дома. Говорили про него разное: будто он и революцию делал, и даже самого Ленина охранял. Но от него самого никто ничего об этом не слышал. В деревне он был первым партийцем, поэтому люди смотрели на него кто с уважением, кто со страхом.

Одет Кирле был, несмотря на холод, очень легко: на нем была бескозырка с лентами, коротенький бушлат и ботинки. Одни сразу полюбили его, а другие затаили злобу. В первую же неделю, помнит Стяппан, на него напала подвыпившая шайка Уткина Ивана. Нападавших было семеро, а Кирле — один. Но не струсил моряк. Одним ударом сбил он Ивана, а Лука Митрофанов отлеживался три дня после матросской встряски. Пока Кирле управлялся с этими двумя, Элекси, сын кулака Якку, выдрал из плетня кол и занес его над головой Кирле. Но тот как раз в этот момент поскользнулся и упал. Это и спасло его. Кол ударился в снег. Когда же Элекси замахнулся второй раз, Кирле увернулся и, ловчившись, ударил его в живот. Удар, видимо, был несильный, и Элекси, подпрыгнув, как кошка, выхватил из валенка нож. Ребят, которые наблюдали за дракой, сдуло точно ветром. Остался один Стяппан. Он всей душой был на стороне Кирле, но близко подойти боялся. Когда же увидел нож в руках Элекси, невольно крикнул:

— У него нож, нож!..

Услышал Кирле его голос или нет, только обернулся и смял последних своих противников — Ялампи и Элекси. Сильный был, очень сильный. Вырвал нож из рук Элекси, намял ему бока и, оставив на снегу трех имениных женихов, ушел. Он шел по улице, еле переводя дух

после жаркой схватки, и кричал густым, сильным голосом:

— Я вам покажу, буржуйские отпрыски! Кланяться мне в ноги будете! Нас на войне убивали, не убили, а вы тут кровь из бедняков высасывали! Ничего, я обрарумлю вас быстро...

Весной кулаки спалили домишко Кирле, где они жили вдвоем с матерью. Помнит Стяппан, как пришел тогда Кирле к деду просить леса. Тот встретил его вроде бы сочувственно, но, хотя в запасе был вывезенный лес, не дал коммунисту, а повел на делянку. Там они, видать, чего-то не поделили, и деда привезли из лесу на подводе — так отделал его Кирле. Лежать, правда, дед не лежал, но раз семь ходил вправлять челюсть к деревенскому юмзе\* Трахвину. Каждый раз, когда дед садился за стол и начинал есть, челюсть у него, казалось, того и гляди выскочит. И дед, обращаясь к иконам, проклинал Кирле.

По всей округе между тем прошел слух, что матрос Кирле чуть было не прибил насмерть Тита Захарыча за то, что тот попытался обмануть его.

— Отплачу, все равно отплачу,— давясь слезами злобы, грозился дед.— Не век будешь ходить, упадешь, а уж коль упадешь, я тебя растопчу... Прости меня, господи,— и дед долго крестился на угол.

Но Кирле ходил, жил, никто его не убивал. Более того, летом он один пригнал из лесу пятерых бандитов. После этого имя его долго не сходило с уст деревенских ребятишек, которые восхищались его силой и ловкостью.

Избу себе Кирле так и не построил, а поселился в доме раскулаченного и высланного Тимахви Кудряшова, владельца водяной мельницы и кирпичного завода. О Кирилле Петровиче все чаще стали писать в газетах как о хорошем председателе сельсовета. А вскоре его взяли в район, но через год-другой он снова вернулся в деревню организовывать колхоз.

Со двора во двор ходил Кирилл Петрович со своим неразлучным другом, председателем коммуны в соседнем селе Андреем Викторовичем. О чем вели они разговор с крестьянами — Стяппан не знал, но видел, как по вечерам сходились мужики у чьей-либо избы и шумели, точно встревоженный улей, говорили о колхозе и о ком-

---

\* юмзя — знахарь.



муне до самого рассвета. Потом расходились, и оставались только те, кто люто ненавидел колхоз. Они теперь сроднились крепко, потому что объединяло их одно: ненависть к колхозу. До слуха Стяппана доносились голоса:

— Работают, работают, а весь хлеб государство себе забирает...

— Ничего, поклонятся они нам в ноги, как придет пора сеять...

— Говорят, Кирле скоро с каждой колхозницей спать будет,— хихикает дед.

— Ха-ха-ха,— дружно смеются остальные.

— Андрей Викторович уже всех, выходит, обошел, теперь за Кирле очередь,— добавляет кто-то.

Если раньше они готовы были перегрызть друг другу глотки из-за того, что чужая курица забрела в чей-то огород, то теперь дышали как бы одним дыханием, забыв на время все ссоры и обиды.

И все-таки триста хозяйств из четырехсот вступили в колхоз. В иных деревнях колхозы распадались, а «Гигант» держался крепко — чувствовалась рука Кирилла Петровича. А когда в деревню прислали первый трактор, вся округа заговорила про Висьсирму. Вдобавок трактористом на нем стал брат Андрея Викторовича — Петр, тот самый, которого ранил Левон Уткин. Он тоже после того случая слыл героем, в газетах частенько упоминали его имя и даже появилась фотография.

Кулаки и их приспешники собирались теперь у Элекси Яковлева. Ходил на эти сборища изредка и дед, но Стяппану строго-настрого запретил там появляться. Возвращался он с этих сходок всегда недовольный и называл кого-то «необлизанным теленком».

Как-то раз под такое настроение Стяппан поведал деду о своем решении жениться. Но едва он заикнулся, дед оборвал его:

— Не к спеху, придет время — сам велю.

Стяппан не отважился продолжать разговор, а тем более сказать о том, что невеста его, Елюк, уже брюхата от него. К счастью или к несчастью, отца Елюк Митрахвана вскоре раскулачили и выслали в Сибирь.

Вслед за Митрахваном дошла очередь и до Тита Захаровича: и дом, и все добро его увезли в районный центр. Хорошо еще, что драгоценности и золото он припрятал. Вместе с бабушкой перешли они к Стяппану.

— Вот теперь самое время жениться,— сказал дед.—

Знаешь дочку пастуха Сухруна? Бедней семьи в деревне нет, лучшей родни и не сыщешь. А коль не женишься на Серахви, и твой дом последует за моим. Серахви—дочь колхозника, пальцем никто не тронет ни ее, ни тебя...

Подумал Стяппан, вспомнил, как на колхозном собрании многие кричали, что и его надо раскулачить, и согласился. Видать, не судьба ему свидеться с Елюк. И ввел он в свой дом невесту, у которой все приданое уместилось на доньшке старого ободранного сундука. Красотой, правда, она не уступала Елюк, и все-таки не было у Стяппана к ней чувства. Уж очень живо помнил он свою первую любовь, так и стоит Елюк перед глазами. А когда прошел слух о том, что Елюк умерла в родильной горячке, а ребенка отдали в детдом, и вовсе потерял покой Стяппан, бредил наяву ее именем. Но время стирает все, изгладило оно и тягостные переживания в душе Стяппана.

На вторую или третью неделю после свадьбы дед посоветовал внуку:

— Теперь вступай в колхоз.

И наутро Стяппан понес в правление, что разместилось в доме Митрахвана, вырванный из тетради листок. Впервые так близко увидел он Кирле. Тот сидел за низеньким столом, высокий и широкоплечий, с большими черными глазами, которые, как показалось Стяппану, видели насквозь душу человека. С той поры, как появился на масленицу в деревне, Кирле заметно состарился: виски побелели, вокруг глаз легла сетка мелких морщин, а на лбу — три неизгладимые канавки. Он сидел, сжав свои пудовые кулаки, и, не мигая, смотрел на Стяппана.

Ёжась под взглядом председателя, Стяппан пытался заговорить, но на язык будто аркан накинули.

— Кирилл Петрович, в колхоз вступить я надумал,— наконец выдавил он.

— В колхоз?!— удивился председатель.— Разве ты не знаешь, что в колхоз мы берем только бедняков и середняков? Или ты забыл, кто ты? Благодарю народ, что из деревни тебя не поперли!

— Я сирота,— мямлил Стяппан.

— Ишь, как ты запел! Змееныш, родившись, тоже своих мать-отца не видит, однако из него вырастает змея. Так или нет?

— А ты меня дедом не попрекай!— вдруг осмелел Стяппан.

— По твоему деду давно Сибирь плачет. Знаешь ли ты, где он у меня сидит?

— Уж не в тюрьме ли?— не понял председателя Стяппан.

— Вот здесь,— ударив кулаком в грудь, продолжал председатель.— Ох, хитер, гад, как змея: отруби ей хвост, у нее новый растет. Знаю я, кто народ мутит в деревне, только вот никак накрыть его не могу. Но попадется он мне, ей-богу, попадется...

— Зачем ты мне все это говоришь? Ведь не сын я ему,— пытался оправдаться Стяппан.

— А чтоб ты знал, каков он есть. Жаль, что в лесу я его не прикончил... Ну, иди, иди, не марай бумагу. С тобой разговор окончен.

Вскипело нутро у Стяппана, но ушел он, не подав и вида. Рассказал деду все без утайки, слово в слово.

— Хитер, говорит,— удовлетворенно хихикая, поглаживал дед бороду.— Да уж, хитер, на приманку ихнюю не попадусь. Не зря мне голова богом дадена. А коль голова есть, то и добра еще можно нажать. И язык у меня есть. А он, хоть и без костей, иногда и кости может переломать... Ты свою обиду людям напоказ не выставляй, лебези перед ними. Сумеешь языком работать— и враг тебе дорогу уступит. Что ж, не берешь в колхоз, мы другую тропку найдем...

Всю ночь дед писал какую-то бумагу. А через несколько дней в колхоз приехал человек в кожанке. Но и после проверки дедова доноса Стяппана не приняли в колхоз— председатель был прав, и уполномоченный поддержал его.

Прошел год, все успокоились.

— Настал наш день,— пророчески известил Стяппана дед.— Время расплаты, говорю, пришло.

С этими словами он достал из погребца обрез и спрятал его в соломе на сеновале.

— Говорят, пули плесенью покрываются. Самое лучшее, чтобы очистить,— это выпустить их через ствол, понял?— бормотал дед.— Ты, молодуха, приготовь нам что-нибудь поесть, в лес мы уходим. Может, лесу на баню наскребем. А то что же это за жизнь без бани?

— Куда вы на ночь глядя?— удивилась Серахви.— Завтра с утра лучше пойдете.

— У лесника заночуем. С ним разговор долгий будет, неужто ты до этого умом своим не дошла?— прикрикнул на сноху дед.

Пужинав, они зашагали со Стяппаном в лес. Стяппан нес пилу и котомку, за поясом у обоих по топору. Шли они на виду у всех, неторопливо. Дойдя до Татарской речки, остановились.

— Винтовка здесь — вчера ночью ее сюда перенес. Завтра Кирле вызывают в район, мы ему поможем добраться. А сейчас айда к леснику, надо чтоб люди нас видели.

Дед допьяна напоил лесника и его жену, оставив еще пол-литра на похмелье.

— Леску бы нам на баню собрать,— по-лисьи начал дед.

— Валите, сколько осилите,— махнул рукой пьяный лесник.— Да и бурелому там полно.

Когда дед со Стяппаном собрались выходить из сторожки, лесничиха сонно проговорила:

— На зверя не нарвитесь, ночь-то вон какая, хоть глаз выколи...

— Не беспокойся, хозяйюшка. Доберемся до старого омшаника, скоротаем в нем ночь и чуть свет — за работу,— успокоил ее дед.

Часа два шли они лесом, пока не выбрались на дорогу, ведущую в район. Вышли к ней со стороны глубокого оврага. Стяппана дед поставил в густых зарослях орешника, откуда дорога видна была как на ладони. Сам засел с противоположной стороны.

— Как только поравняется он с тобой — не медли, стреляй. Побежит — сам пальну. Потом беги на речку, там встретимся. Смотри, не наскочи на кого. Завидишь его, куковать должен. Гляди, глаза у тебя вострей моих...

Помнит Стяппан тот день до мельчайших подробностей. Только-только взошло солнце. В сотни голосов щебетали птицы. Не сводя глаз, глядел он на песчаную дорогу, на которой не отпечаталось пока ни единого следа.

Но вдруг на дороге появилась тень, а вслед за ней — тетка Хведусь. Екнуло у Стяппана сердце, когда она стала спускаться в овраг как раз в том месте, где схоронился дед. Но тетка Хведусь справила свою нужду и, благополучно выбравшись из оврага, зашагала дальше...

Мучительно долго тянется время. Стяппан, словно зверек, чутко прислушивается к каждому шороху. Руки, до боли сжимающие винтовку, онемели и дрожат.

Неожиданно раздалось лошадиное ржанье. Стяппан думал, что Кирле, как обычно, пойдет в район пешком, и не ожидал увидеть его в приближавшемся тарантасе. Но, когда лошадь поравнялась с ним, он ясно различил, что с той стороны сидит председатель, а с этой, загораживая его,— бухгалтер Ехрем.

Но вот лошадь спустилась в овраг и стала подниматься, фигура председателя вся открылась — только стреляй. Стяппан растерялся и не сумел нажать курок — безудержно тряслись руки. Пришлось целиться снова. Наконец он выстрелил. Кирле стегнул лошадь вожжами, на ходу соскочил с телеги и прыгнул в придорожные кусты. Стяппан наугад полоснул по кустарнику, и в это время над его ухом взвизгнула пуля: очевидно, Кирле заметил Стяппана, а может, определил по выстрелам. Вместо того, чтобы продолжить ответный огонь, Стяппан трусливо юркнул в кусты. Но Кирле, видимо, услышал треск сучьев, и снова над головой просвистела пуля. Стяппан пустился наутек, а вдогонку неслись выстрелы: то ли это стрелял Кирле, то ли дед палил по председателю. Достигнув речки, Стяппан рухнул в траву. Понемногу он приходил в себя, но руки и ноги противно дрожали. Вдруг из кустов неслышно, как кошка, появился дед.

— Сопляк! — зло выругал он Стяппана. — С двадцати шагов не мог убить проклятого!..

У Стяппана с души отлегло: значит, Кирле жив. Ну, черт с ним, хватит и того, что поугали немного.

— Не будь меня, — успокоившись, продолжал дед, — не сносить бы тебе головы. Ну, слава богу, отплатил-таки я супостату.. Чего ждешь, прячь обрез-то!

Но Стяппан словно окаменел: выходит, дед все-таки убил председателя? Старик спрятал обрез и наган, присыпал сверху песком и, беспрестанно крестясь, поторопил Стяппана:

— Давай, давай, подвигайся! Нам теперь, знаешь, сколько лесу надо наготовить? Тогда никому и в голову не придет нас заподозрить... А от неожиданной смерти и бог не спасет. Прости меня, господи...

До самого обеда, обливаясь потом, валили они лес. После полудня вышли к избушке лесника. Лесник был

навеселе. Он встретил их очень радушно. Лесничиха, немешкая, принялась готовить обед.

— Ну, заготовили бревен-то?— спросил лесник.

— Да, пожалуй, на баню хватит,— ответил дед.— И то сказать: с самого рассвета начали. Думаю, хватит, да и устал я шибко. Видно годы не те, что раньше... Устал я, брат, устал, не грех бы нам теперь и подкрепиться. Сбегай-ка, Стяппан, скорым ходом в лавку да принеси нам «святой» водички. А то поясницу так и разламывает...

Выйдя проводить Стяппана, дед шепнул ему:

— В два уха слушай, о чем люди судачат...

Страшное известие уже облетело деревню. Стяппан ежился под каждым внимательным взглядом, когда покупал в лавке водку. Не чуя под собой ног, вернулся в сторожку.

От изрядно выпитого вина лесник так расчувствовался, что силком оставил Стяппана и деда ночевать. Всю ночь Стяппан ворочался с боку на бок, с минуты на минуту ожидая, что вот-вот за ними придут...

Поднявшись ни свет ни заря, собрались в обратный путь. Лесник проводил их на своей лошади — уж очень был доволен тем, что дед, не скупясь, угостил его водкой, да и за бревна хорошо заплатил. Стяппан уже сидел на телеге, а дед все шептался о чем-то с лесником.

В деревне говорили только про убийство председателя. Не пробей пуля голову, гляди, и жив бы остался Кирле, потому что две другие раны были несмертельные. Сноха оповестила мужа, что до их прихода была милиция, перевернула все вверх дном, но ничего не нашла. А через час прибежал исполнитель — Стяппана и деда вызывали в сельсовет.

— Помни, сынок: доброе слово добром оборачивается, худое — кровью может обернуться,— одеваясь, сказал дед и внимательно посмотрел на Стяппана. До сего дня помнит Стяппан эти слова, но и до сего дня не понимает, что они значили.

Видать, не надеялся дед на внука, боялся, что тот может выдать и себя, и его. Потому и намекал: мол, проговоришь «худое» слово — оно «может кровью обернуться», то есть не жить после этого Стяппану.

По дороге в сельсовет договорились отвечать одно и то же: ничего не знаем, были в лесу.

Молодая женщина-следователь допрашивала их не-

долго, отпустила. Но следствие длилось около года, и не раз еще вызывали и деда, и Стяппана, и лесника с его женой — все бесплодно. Сказать по правде, от суровой кары спас их лесник. Он подтвердил, что обе ночи дед с внуком провели у него. Однако удалось установить, что убийц было двое: один стрелял из обреза, другой — из нагана. Но непойманный — не вор, хотя и знали, что в деревне есть у нескольких мужиков винтовки. Так и не сумели найти и наказать преступников.

...В войну Стяппан побывал в плену. Самое страшное воспоминание у него связано с фашистскими овчарками. Враг окружил их в небольшом леске. Чтобы выловить всех до единого, фашисты с собаками прочесывали лес. И с ужасом вспомнил тогда Стяппан о дне убийства Кирле: приведи милиционеры собак-ищеек, не миновать бы им с дедом расплаты. Правда, в деревне поговаривали, что причастен к убийству Тит Захарович, но большинство думало, что с Кирле свела счеты та шайка бандитов, из которой он когда-то поймал пятерых. И дед больше всех разглашал эту версию.

И вот уже тридцать шесть лет прошло с тех пор. Стяппану теперь под шестьдесят, и в колхозе он состоит тридцать четыре года. И деда давным-давно нет: он умер в войну, когда Стяппан был на фронте. Умер — и унес с собой тайну, что живет в душе Стяппана по сей день. Унес он, видать, и свое золото, потому что как ни терзал Стяппан землю под старой яблоней, вернувшись с фронта, ничего не нашел, кроме древних ее корней... Давно уже пристроены дети — дочь замужем, сыновья разъехались по городам..

Изменился и сам Стяппан. В деревне не на последнем счету — все годы работал в колхозе исправно, нареканий ни от председателя, ни от бригадира не слышал. Только молчалив по-прежнему. Видать, не прошла даром дедова школа. Но люди привыкли к его молчанию — не хочет человек говорить, так и незачем слово из него тянуть. Говорили, что после контузии он и вовсе перестал разговаривать. Да еще одна странность у него появилась: стал он невыносимо скуп. Все заработанные деньги копит на книжке, скот продаст — и опять на книжку.

Ну, а что было когда-то, то быльем поросло, никто о том не знает, кроме Стяппана..

Ан не поросло быльем прошлое. Вот оно, так и да-

вит, так и щемит душу, будто камень на сердце лежит пудовый. Ведь приходилось и на фронте убивать, но уж больно не похож тот «враг» на фашиста. Потому и не идет у Стяппана из головы страшный день многолетней давности. Тут еще Андрей Викторович о нем напомнил.

Стяппан крадучись подходит к окну. Боясь сразу увидеть обелиск, он разглядывает вишни в палисаднике, размашистые ветлы на улице, двухэтажную школу, клуб, потом переводит взгляд на площадь. Народу собралось еще больше. Около обелиска — грузовик с опущенными бортами, на нем стол, покрытый кумачом, за столом — люди, знатные люди деревни, представители района. До Стяппана отчетливо донесся голос сына Кирле — Александра Кирилловича Ветрова:

— Товарищи! — говорит он. Дальше Стяппан не слышит. Он заново переживает события того дня, вспоминает все, до последней мелочи. Александр родился после смерти отца, через два месяца. Стяппан отлично помнит это. Голос у него такой же зычный, как и у отца. Коренастый и высокий — тоже в отца. Уже десять лет председательствует он в колхозе, как раз с того дня, как Андрей Викторович ушел на пенсию. Колхоз при нем окреп еще больше.

И снова голос Александра Кирилловича:

— Разрешите митинг, посвященный открытию памятника зверски убитому кулаками коммунисту Ветрову Кириллу Петровичу, считать открытым...

Над клубной площадью плывут мощные аккорды Гимна Советского Союза. Его исполняет колхозный духовой оркестр.

Кругом тишина. Один только гимн. Кажется, его слышно далеко за деревней, его слышат все. Слышит его и Серахви, однако не знает, как тяжело слушать эту музыку мужу...

Оркестр умолк. С грузовика спускаются Александр Кириллович и Андрей Викторович. Шурша, спадает белый шелк, и Стяппан видит обелиск из белого мрамора... И тут ему приходят на память слова, которые говорил ему Кирле в том страшном сне: «Я не умер, я с народом, я в народе...»

Вот на грузовик вновь поднимается Андрей Викторович и начинает говорить. Стяппан не слышит его слов, но кажется ему, что это звучит приговор убийце, запоздавший на тридцать шесть лет...



Стяппан с воплем выбегает в сени и накидывает на дверь крючок. Но никто в толпе не шелохнется, никто не бежит к его дому. Все застыли в глубоком торжественном молчании.

Стяппан трясущимися руками зажигает керосиновую лампу, торопливо спускается в подпол и захлопывает за собой половицу. Вчера, когда Серахви была на работе, он уже побывал здесь, но не успел откопать дьерь, ведущую в подземелье. Все, все надо уничтожить — и погреб, и подземелье, чтобы не могли к нему придаться... Надо замести все следы, которые возвращают в то далекое и жуткое прошлое. Правда, о подземном ходе знает он один, но как положиться на себя? Вон как всего трясет, а тут еще под самыми окнами этот негласный свидетель — памятник...

Вернувшись с фронта, Стяппан пытался проникнуть в подземелье, но дорогу, что соединяла погреб с подпольем, тогда он не нашел, вернее, помешали ему: то дети приведут соседских ребят, то еще кто придет. Тогда он завалил место над подземным ходом поленницей дров, кончилась она — навалил новую. Больше Стяппану не удалось туда проникнуть, да и не хотел он, ждал, что обвалится потолок, стенки — и все на этом. Но подземный коридор будто камнем был выложен — так затвердела земля от давности. Рано или поздно он, конечно, обвалится, но когда?

Тяжело открылась спрятанная от людских глаз дьерь. Дубовые ступени и стены покрыты плесенью, в нос ударило сырым холодом и запахом гниющего дерева.

Стяппан боязливо спускается по ступеням. Они еще довольно крепки. Внизу еще одна дьерь. Она сделана из дубовых горбылей, так что ее трудно отличить от стены, но Стяппан делал ее сам.

Стяппан с натугой открывает ее. Заржавевшие петли издают пронзительный скрежет. Здесь еще больше сырости, будто только что прошел дождь. Держа над головой лампу, Стяппан идет вглубь по коридору. Свет копилки отбрасывает его расплывчатую тень, которая, как страшное чудовище, плывет впереди него.

Стяппан, остановившись, разглядывает потолок, стены. Доски на потолке прогнили. Дубовые подпорки увязли в их трухлявых боках, от сырости покрылись белым налетом.

Пройдя несколько шагов, Стяппан заметил какой-то ящик, прикрытый сверху обрезками досок. Он не помнит, чтобы они с дедом поместили его сюда. Что же в нем? И кто его сюда принес? Содрав остатки сгнившей мешковины, Стяппан открыл ящик и отшатнулся: перед ним знакомый обрез, заботливо смазанный маслом. Не веря глазам, Стяппан пошарил в ящике рукой и нащупал еще два нагана. Они тоже смазаны маслом. Так значит, дед тайком от него перенес спрятанное в лесу оружие? Значит, он надеялся, что Стяппан когда-нибудь да спустится сюда...

По пройденному расстоянию Стяппан определил, что находится сейчас как раз под погребницей. Шаг за шагом ступая дальше, он наткнулся на что-то тяжелое. При свете керосинки разглядел полутораведерный чугунок, покрытый сковородой. На сковороде—упирающаяся в потолок дубовая подпорка. Скорее чутьем, чем сознанием, Стяппан понял: золото!..

—А, вот оно где дедово богатство!.. Я-то, дурак, все тянул, все боялся... Давно бы сюда спуститься...—приговаривал, ползая вокруг чугуна, Стяппан. Он попытался сдвинуть его с места, однако чугунок словно врос в землю: на него давит всей тяжестью потолка дубовая подпорка. Стяппан в бешенстве начинает пинать чугунок, но заветное золото все еще прячется от него. Вот он ударом ноги выбивает подпорку, и потолок, а за ним земляная лавина накрывают Стяппана. Лампа гаснет.словно из-под гигантского жернова с шорохом ползет земля, сжимая Стяппана в своих объятиях. Он силится встать, но с каждым движением земля осыпается все больше, давит и давит его... «А ведь наверху «оленница»,—с ужасом вспоминает Стяппан. Он пробует кричать, но рот забивает земля. Прикрыть бы ладонями—рук не может высвободить: они намертво придавлены землей.

«Вот и конец,—думает он.—Неужели прямо вот здесь, рядом с таким богатством и погибну? Нет! Нет!..»

Собрав остатки сил, он кричит:

— Спасите! Помогите!..

Но кто услышит его из такой глубины?

А над клубной площадью снова плывет гимн — митинг, посвященный открытию памятника партийцу Кирле, окончен. Слушают люди: это гимн в честь славного сына, сложившего голову за народное счастье.

Не слышит гимна только Стяппан.



Цена 20 коп.